

— I —  
Милован Джилас

**ТИТО,**

**мой друг,**

10-5267.9692

**и**

**мой враг**

LEV

85, Rue Rambuteau

75001 Paris



II 421590

**MILOVAN DJILAS**

**DRUŽENJE S TITOM**

С сербскохорватского перевел

ЯРОСЛАВ ТРУШНОВИЧ

© Verlag Fritz Molden, Vienne, 1980

© (русский) Lev, 1982, Paris.

ISBN: 2-904203-00-1

1989/14/96

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Последняя книга Милована Джиласа, бывшего многолетним другом Тито и вице-президентом Югославии, "Тито - мой друг, мой враг", вызвала бурю негодования в Югославии (где, конечно, она не была издана) и сравнительно сдержанную реакцию на Западе. И это очень симптоматично: книга иллюстрирует разницу отношения к югославскому диктатору здесь, на Западе, и в Югославии. В последней культ Тито десятилетиями поддерживался жестокими полицейскими репрессиями, и поэтому югославская партия так болезненно воспринимает каждое слово правды об умершем вожде. На Западе тоже десятилетиями поддерживался культ Тито, но свободно и безо всякого внешнего давления не только государственными деятелями, но и свободной прессой.

Парадоксально то, что книга Джиласа в самом деле заслуживает критики, однако, прямо противоположной той, какую она вызвала, например, в Соединенных Штатах. Дело в том, что Джилас, по всей вероятности, желая быть "объективным", нарисовал Тито более светлыми красками, чем тот заслуживал. Однако несмотря на это, перед глазами внимательного читателя достаточно четко вырисовывается истинная фигура жестокого югославского диктатора, что и объясняет большинство критических отзывов американской прессы.

Люди, следящие за литературой о коммунистической Югославии, ничего фактически нового в этой книге не найдут. Но собранные все вместе уже известные о Тито факты, безусловно, производят большое впечатление.

Внимательно прочтя книгу и не дав себя увлечь иногда дружеским тоном автора, человек начинает понимать, каким способом и какими путями крестьянский мальчик из югославской провинции стал вождем, сперва подпольной компартии, затем кровавой коммунистической революции; потом был десятилетиями диктатором страны, мировой фигурой и одним из самых влиятельных людей так называемого движения "неприсоединившихся стран". К тому же надо добавить, что Тито был, как это пишет Джилас, "иностранцем в своей стране" и никогда не научился хорошо говорить по-сербохорватски. (Тито родился в части Югославии, где говорили на диалекте, провел большую часть жизни в австрийской армии и в Советском Союзе, а до этого в дореволюционной России.) Понятно, что такая биография вызывает законный интерес. Однако нельзя забывать, что и две другие, тоже яркие, фигуры нашего столетия - Сталин и Гитлер - прошли во многом сходный жизненный путь.

Хотя, как я отметил, в книге нет ничего особенно нового, но именно ввиду культа Тито на Западе полезно было напомнить, что: Тито был в 1928 году арестован и судим за подготовку террористических актов и у него были найдены бомбы; он был годами прямым советским агентом, впрочем, как и все коммунисты того времени; придя к власти, он с благодарностью говорил о том, как советские товарищи освободили его партию от "фракционеров", т.е. перестреляли в 1937 году весь ЦК югославской компартии, а его самого сделали ее генсеком. Стоило напомнить и о том, что самая радикальная и верная Сталину коммунистическая власть после Второй мировой войны установлена была именно в Югославии,

так что Сталин, делая выговор польским коммунистам за "мягкотелость в борьбе с классовым врагом", ставил им в пример именно Тито, и, как пишет Джилас, сказал: "Тито - молодец, он всех перестрелял". И т.д.

Из книги видно, как югославские коммунисты во всем до мельчайших подробностей шли сталинским путем. Сразу же после прихода к власти для них были созданы закрытые магазины и сразу же (с 1945 года) югославский КГБ - УДБА - стал контролировать не только всю страну, но и партию, а отношение вождя к остальным партийным лидерам было точно такое же, как в Кремле.

Все важнейшие решения принимал лично Тито, ЦК не собирался почти 10 лет. Джилас прекрасно показал и доказал, что для Тито единственной целью была власть, власть личная, неделимая и неограниченная. И особенно важно для западного читателя указание на то, что Тито без давления никогда не шел ни на какую либерализацию, что он был вынужден и на введение почти что рыночного хозяйства и на так называемое "рабочее самоуправление", которое, как верно отмечает Джилас, отнюдь не изменило сущности звериного однопартийного режима. Даже во внешней политике Тито буквально страдал из-за необходимости смягчать свою линию по отношению к "капиталистическим странам", от помощи которых он зависел после разрыва со Сталиным.

Джилас, иногда даже невольно, показывает, насколько безоснователен утвердившийся на Западе миф, будто Тито является некой противоположностью Сталину, а не настоящим "югославским Сталиным". Попади Сталин на его место, он поступал бы так же, как и Тито. Так же можно себе представить и Тито на месте Сталина. Как Сталин или Ленин, Тито сразу же после гражданской войны уничтожил так называемых "классовых врагов" и весь цвет югославской интеллигенции. Как Сталин, он создал концлагеря

для своих вчерашних партийных товарищей и немилосердно с ними расправлялся. Как Сталин, он после ликвидации своих соперников присвоил именно их идеи. Как Сталин, он пользовался идеологией лишь как оружием борьбы и поддержки своего единовластия. В отличие от Сталина, Тито - пишет Джилас - никогда лично не подписывал смертных приговоров (в те времена, когда расстреливать уже начали по приговору суда, а не по "классовому признаку") и всегда предоставлял это делать другим. Но это - лишь увертка и лицемерие.

Однако надо признать, что в самом деле в чем-то существовала разница между Сталиным и Тито. Разница эта состояла в жизненном стиле двух диктаторов. Именно стиль жизни Тито и вызвал в некоторых кругах Запада странную симпатию к югославскому коммунистическому вождю. (И наоборот, беспристрастное описание этого стиля Тито в книге Джиласа вызвало осуждение со стороны некоторых американских критиков). Джилас рассказывает, как сразу после войны Тито забрал в свое личное пользование все королевские дворцы и поместья, и не только королевские, но и государственные, и даже некоторые частные. Как говорит Джилас, "сам Тито не знал, сколько у него дворцов". Захватывал Тито и частные коллекции картин, золото, драгоценные камни, острова в Адриатическом море, даже устроил свой личный зоологический сад. Вспоминается, как десяток лет тому назад в Белграде произошел такой случай: в белградском зоологическом саду родился слоненок, и ежедневная газета "Политика" расписала детский конкурс для того, чтобы дать имя слоненку. Неделями газета в своем детском отделе печатала предложения детей, репортажи из зоологического сада, и вдруг перед самым окончанием конкурса газета умолкла и ни на какие вопросы читателей не отвечала. Только несколькими годами позже всем стало известно, что слоненок находится в частном зоологическом саду Тито на его островах Бриони.

Джилас описывает, как Тито любил носить на пальцах драгоценнейшие бриллианты и даже на поясе тяжелейшую пряжку из литого золота. Чрезвычайно характерно и то, что Тито сам вместе с художником придумывал свою золотую маршальскую форму. Несмотря на то, что, как и Сталин, официально Тито получал совсем небольшое жалованье, он был - замечает Джилас - "самым дорогим властелином своего времени". Однако как ни странно, но именно этот его жизненный стиль, эти его черты - безграничное пристрастие к роскоши, любовь выпить и побыть в обществе молодых и красивых женщин - в глазах западного мира сделали его более симпатичным, чем если бы он был идеологическим фанатиком. А ведь следует помнить, что все, что Тито делал, было полностью подчинено его неизменной и постоянной цели - укреплению и расширению личной власти. В конце его жизни десятилетиями насаждаемый культ его личности воистину дошел до абсурда. Джилас рассказывает, как в начале прошлого года, после того, как Тито ампутировали ногу, организация так называемого "Социалистического Союза" в Белграде предложила, чтобы Тито был в четвертый раз награжден орденом народного героя за пережитую операцию!

Роскошь и блеск сами по себе не вызывали бы чувства омерзения, если бы не были сопряжены с бесправием миллионов граждан и многих тысяч политических заключенных. Величайшую ценность книги Джиласа для Югославии представляет именно описание, сделанное человеком, хорошо лично его знавшим. Но как раз то, что американская пресса в книге критикует, является несомненно динамитом для читателя в Югославии, привыкшего больше чем треть столетия видеть Тито на фотографиях, в бесчисленных скульптурах и в фильмах, всегда издали, как живого полубога. Вот чего не поняли в книге западные критики и что сразу же схватили югославские власти.

Джилас верно оценивает, что в истории Югославии и в личной карьере Тито самым важным годом и самым важным событием было столкновение со Сталиным в 1948 году. Однако столкновение со Сталиным и борьба югославских коммунистов за независимость ни в коем случае не являлась борьбой за свободу или демократию. Именно с 1948 года в Югославии начались самые страшные годы, которые можно сравнить только с годами великих сталинских чисток. Именно тогда в Югославии появились концентрационные лагеря, начались чистки, ночные аресты и насильственная коллективизация. Западный мир, привыкший к отождествлению коммунизма только с СССР, просто не хочет верить фактам югославской истории. Но книга Джиласа рассчитана именно на югославского читателя. Зная, что весь ужас югославских концентрационных лагерей никогда не был описан и осужден, автор уже не в первый раз подчеркивает, что инициатива концлагерей исходила лично от Тито, ни с кем не советовавшегося. Джилас считает, что в лагере попало всего 15 000 человек, из которых 7000 офицеров, но он не пишет, сколько заключенных из лагерей не вышло. В Югославии же уверены, что не вышел каждый третий, так же как уверены, что число заключенных было намного больше 15 тысяч.

Джилас описывает методы югославского КГБ. Рассчитывать выжить в лагере мог лишь тот, кто терроризировал, избивал и буквально убивал всех, нежелающих публично покаяться и облить себя грязью. Как и в нынешних китайских тюрьмах, по свидетельству китайских эмигрантов, заключенные сами вели "расследования", пытали и якобы сами выносили приговоры: полное самоуправление! Джилас пишет, что в лагерях официально это даже называлось "самоуправлением заключенных". Словом, Джилас считает, что после закрытия лагерей в 1956 году на свободу вышли только "душевные и физические калеки". С совершенно непривычной для такого человека как Джилас,

наивностью, он сожалеет о том, что югославские писатели все еще обходят тему концлагерей и послевоенной антикоммунистической партизанщины в югославских горах, когда было перебито от сорока до пятидесяти тысяч повстанцев, погоня за которыми продолжалась до начала 50-х годов. Но, может быть, это своеобразная ирония и сарказм?

Книга Джиласа могла бы иметь решающее значение не только для Югославии, но и для западного общественного мнения, если бы ее захотели внимательно и не предвзято прочесть.

К сожалению, американское общественное мнение чересчур часто напоминает американскую актрису Элизабет Тейлор, восторженную поклонницу Тито за то - как она это сама говорила, - что Тито не подписал ни одного смертного приговора. Я не знаю, что хуже - тот ли факт, что президент Картер, приветствуя Тито в марте 1978 года в Белом Доме, назвал его "героем свободы", или то, что "Ньюзуик" от 20 ноября 1980 года в редакторском введении к отрывкам из книги Джиласа отождествил борьбу Тито с нынешними событиями в Польше и с борьбой польских рабочих за независимость профсоюзов. Когда президент Соединенных Штатов и влиятельнейший еженедельник черное называют белым, тогда только начинаешь понимать, в какой опасности находится демократия.

Для осмысления такого факта, как культ диктатора Тито на демократическом Западе, недостаточны исключительно прагматические причины, на основании которых демократические государства поддержали югославского диктатора после его столкновения со Сталиным. Ведь десятилетиями Соединенные Штаты по тем же причинам поддерживали и иранского шаха, но никогда на Западе иранский шах не окружался ореолом борца за свободу. Видно, что корни, на которых так пышно разросся культ Тито, находятся намного глубже, чем сфера ежедневной политики.

Культ Тито питается неспособностью или нежеланием увидеть реальность нашего времени, когда демократии угрожает не одно определенное государство, а мировой коммунистический тоталитаризм во всех своих формах. Осознание этого факта требует резкого изменения жизненной установки, а не только одной внешней политики демократических стран. Особенно теперь, когда многим кажется, что и Китай пойдет югославским путем, - а осознание правды о титовской диктатуре разрушает укрепившийся миф, что опасностью для мира является только советский коммунизм. Люди совершенно забывают, что ныне самое "сталинское" государство - это отнюдь от СССР не зависящая и никогда не зависившая Албания, так же как и до недавнего времени Камбоджа.

На Тито можно смотреть как на успешное соединение двух зол - коммунистического и отживающего на Западе вульгарно-буржуазного. Именно поэтому он десятилетиями подавал надежду многим людям Запада на возможность либерализации коммунистической диктатуры, особенно если этот процесс будет поддержан экономически. Но это чистейшая иллюзия, и поэтому в некотором смысле югославская версия коммунизма для Запада опаснее других, более грубых его осуществлений.

Следует помнить, что положительное отношение к антимосковским диктаторам, левым или правым, в глазах угнетаемых ими людей подрывает веру в западную демократию много больше, чем коммунистическая пропаганда. Отношение к Тито и его культ на Западе - прекрасный показатель духовного и политического состояния самого демократического мира. До тех пор, пока такой культ будет существовать, надежды на то, что демократия сможет успешно противостоять тоталитаризму, весьма малы.

И все же можно реально надеяться, что в скором будущем то, что будет твориться в Югославии, сама жизнь, полностью разрушат культ Тито. Они сделают

то, чего не смогли сделать те немногочисленные люди, которые десятилетиями говорили правду о коммунистической Югославии, и первый из них - Милован Джилас. Очевидно, из-за того же самого культа Тито мало кто в США знает, что Югославия задолжена больше, чем Польша. Долг Югославии - 15 миллиардов долларов, а это значит 677 долларов на каждого гражданина, тогда как в Польше долг на гражданина - 567 долларов.

Тяжелейший экономический кризис, инфляция (одна из самых высоких в Европе), 12% безработных в самой стране, не считая почти миллиона югославских рабочих в Западной Европе, большое число политзаключенных, в сотни раз больше, чем в довоенной Югославии, подавление всякого инакомыслия, несмотря на репрессии, все шире разрастающееся диссидентское движение, требующее свободной печати, амнистии политзаключенным и т.д., - все это создает благоприятную почву для радикальных перемен.

Если в борьбе за власть, которая сейчас, очевидно, идет в кругах партийной бюрократии, возьмет верх реформистская и более либеральная тенденция, то и надежды на демократические реформы вполне обоснованы. К сожалению, существует и опасность: в критический момент, опасаясь народа и возможности потери власти, компартия позовет на помощь Советский Союз. Это много вероятней нападения СССР на Югославию. Так как основным стержнем, поддерживающим коммунистическую диктатуру, является именно культ Тито, то лишь ликвидация этого культа откроет дорогу демократическим реформам, единственным, могущим спасти независимость страны и снять опасность усиливающихся сепаратистских течений.

Книга Милована Джиласа полностью разрушает миф о югославском диктаторе, что и составляет ее огромную ценность для будущего Югославии.

Михайло МИХАЙЛОВ

1981 г.

## 1. МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБУЧЕНИЯ ОТ ПРОТИВНОГО

В человеке есть и "ангельское" и "демоническое" начала. Это утверждение бесспорно и отнюдь не ново. Но если уже говорить об этом, то я бы еще добавил, что человек не знает, когда именно преобладает в нем первое, когда второе, — а если думает, что знает, то ошибается. Чаще всего, по-видимому, в нем присутствуют оба начала: первое использует второе, а второе оправдывается первым. Но еще я заметил, и тут я не ошибаюсь, что человек наслаждается, одерживая победы — то ли во имя унаследованных им ценностей, то ли во имя ценностей им придуманных, теоретических, то есть действуя согласно своей "двойственной", своей, обладающей множеством граней, природе.

Наиболее ярко, наиболее полно выражается это в политике. Потому что политика или, другими словами, влияние на жизнь нации и общества — если уж нельзя добиться управления ими — наиболее комплексный и высокий вид деятельности. По той простой причине, что политика — концентрат жизни, а значит она более многосторонняя, более тотальная, чем "сконцентрированная экономика", каковой считал политику Ленин. К такому выводу Ленин пришел, исходя из догмата о первичности экономики, хотя этот догмат не помешал ему стать одним из наиболее то-

тальных, наиболее тоталитарных политиков. Поэтому политик, политик "по крови и плоти" – который для политики жертвует собой, для которого она призвание, ниспосланное "свыше", заложенное в нем как личный творческий талант – существо не "ангельское" и не "демоническое". Не потому, что эти упрощенные и обветшалые оценки человека не применимы к политику как к "сверхчеловеку". Он никакой не сверхчеловек и ничем от обычных людей не отличается, кроме одного: у него сильнее, чем у других, развито "политическое" качество. Другие тоже обладают этим качеством, но в меньшей степени. Нет, политик не смеет быть ни "ангелом", ни "демоном", ни добряком, ни злодеем. Если политика для него – дело жизни и смерти, он должен заниматься ею ответственно, действовать смело и осторожно, то проигрывая, то побеждая.

Эти мысли я совсем не считаю новыми – после Аристотеля и Макиавелли трудно сказать что-либо новое на тему о политике. Я также не намерен пускаться в теоретизирование, а хочу из пережитого и осознанного, точнее из воспоминаний и размышлений о Йосипе Брозе Тито, о его личности и политике, извлечь и высказать то, что мне кажется наиболее существенным.

К этому, даже помимо желания, побуждает меня связь моей жизни с Тито и с его деятельностью. И, я в этом уверен, в гораздо большей степени – сама личность Тито. Потому что Тито – вне зависимости от того, какого мы мнения о его деятельности и о нем самом – один из наиболее целостных (хотя и не самых сложных и загадочных) политиков. Причем – не только нашего времени и не только на этом коротком и стесненном отрезке балканской истории.

Интерес к Тито, его исключительность с литературно-политической точки зрения усиливаются его молниеносным взлетом и его бурной биографией. Здесь эта биография – лишь одна из составных частей мое-

го аналитического изложения. Тито интересен, даже неповторим, как сплав определенной личности с определенной политикой, как личность-политика. Частная жизнь Тито привлекает внимание лишь как функция этого его главного содержания.

А литературный анализ и описание именно таких, а не иных особенностей личности Тито могут быть и интересны, и поучительны. Особенно в наше время, когда Тито стал символом коммунистического национального восстания и национальной коммунистической ереси.

Попытка отыскать корни этих явлений, раскрыть их в подлинном, а не идеализированном и прагматическом виде, заставили меня изложить и мои воспоминания, и мои мысли о Тито в отдельной работе. Причем – не случайно и не равнодушно, а как раз в те дни, когда мир с напряжением, а Югославия с беспокойством, следят за драматическим ходом болезни Тито.

А кроме прочего, мои взаимоотношения с Тито еще не окончились, хотя все личные контакты прерваны двадцать шесть лет тому назад, в тот момент, когда обнаружили наши идейные расхождения – как это и положено в коммунистическом движении.

И хотя я не считаю, что чем-то ему обязан – потому что все, что делал, я делал, исходя из собственных убеждений или, в крайнем случае, ради самого себя, – однако должен подчеркнуть, что политике я научился больше всего у него, у Тито. Конечно, не как "верный последователь" и не как ученик, чем кичатся сегодня, проталкиваясь к его смертному одру, разные подхалимы из его камарильи, а раскрывая посредством Тито сущность политики и политического искусства. Но с противоположным видением и иными устремлениями – к открытому обществу, к личным свободам, к экономическому и партийному плюрализму. Короче: против "закона" власти – к власти закона.

Условно это можно назвать методом обучения от противного. Такое обучение - отрицание, изменение и переделка существующей, "титовской" действительности - создает условия для активности и творчества. Послетитовская Югославия может стать одним из примеров такого пути, но примером весьма значительным для нашего времени. Потому что лишь на примере исторических событий, а еще в большей степени на примере исторических личностей можно научиться, как не следовало бы поступать. Действию, творчеству никак по-иному не выучишься, как действуя и творя. В этой школе все остальные элементы - теории, писанные истории, науки, искусства, даже организации - хотя и необходимы, но имеют вспомогательное значение. Все это не уменьшает ни масштабов, ни значения исторических событий и личностей, в том числе - значение Тито и событий, в которых он играл решающую роль. Но дело в том, что ни жизнь, ни политику невозможно остановить, они должны беспрестанно изменяться и обновляться - только так они могут избежать тления и гибели.

Таким образом, обучение "от противного" обладает магическими свойствами и обеспечивает наибольшую эффективность - вероятно, не только в политике. Таким было и мое обучение у Тито хотя я понял это не сразу, а лишь постепенно, после того, как с ним разошелся. Тогда, в конце 1953 года и в начале 1954 года, я сперва ощутил, а потом четко осознал, что мне необходимо отделиться от него и от партии, которая уже стала его собственностью, - если я не хочу в его сиянии перестать быть самим собой и завять в тени его могущества. Я был настолько охвачен размышлениями о своей собственной судьбе, что это, надо думать, мешало мне рассмотреть историческую личность Тито, а в особенности осознать, чему и в какой степени я от него научился - научился в том смысле, как это только что было сказано выше.

## 2. ОТСУТСТВИЕ, ДАЖЕ НЕНУЖНОСТЬ ТАЛАНТОВ, КРОМЕ ОДНОГО - ПОЛИТИЧЕСКОГО

Йосип Броз Тито - личность с ярко выраженным отсутствием каких бы то ни было талантов, кроме одного - политического.

Однако это утверждение, хотя оно и верно, может ввести в заблуждение и привести к неверным выводам, если его не изложить более подробно и не проанализировать конкретнее.

Прежде всего, Тито несомненно обладал острым пытливый умом и большой способностью схватывать наиболее существенное. Те же самые способности я заметил и у Сталина, хотя я сказал бы, что Сталин мыслил более осторожно, а может быть и более медленно, суть же схватывал еще более чутко и все-сторонне.

Эти качества Тито выражались в четкой логичности и последовательности мышления и стремлению к ясности. Если бывало, что Тито что-то не понял, что он чего-то не додумал - он действовал и выражался крайне осторожно и даже растерянно. Правда, случалось это редко - при непредвиденных обстоятельствах. Мысль Тито настолько опережала его речь, что во время открытых выступлений он нередко соединял два или три предложения в одно и при этом заикался.

Оратор он был из рук вон плохой, но не мог по-придержать себя, не говоря уже о том, чтобы вообще отказаться от слишком частых открытых выступлений. Писатель Зогович\* - в то время, когда он был еще партийным деятелем - однажды в шутку заметил: "Он бы помер, если бы лишился возможности выступать". Однако Тито частыми выступлениями и интервью добился своего: он реагировал на события, предлагал изменения - повторяя чужие мысли - и укреплял этим свой авторитет, убеждал всех, что он незаменим. И хотя роль незаменимого вождя создавала ему партия, а беспартийные относились к нему так, как к обладающему властью, ниспосланной свыше, сам он тоже участвовал в создании себе имени - обдуманно, с врожденным упрямством.

Но Тито мог быть и хорошим оратором - если дело шло о конкретно заостренном вопросе. Чаще всего это бывало при сведении внутрипартийных счетов. Его речь против либеральной линии Никезича\* в коммунистической партии Сербии в 1972 году на заседании импровизированного актива сербских коммунистов могла бы стать примером содержательности, складности и ловкости. Без сомнения плохи его доклады по внешней и внутренней политике, а в первую очередь - речи в общественных местах, которые он произносил особенно часто. Тито выступал в полную или среднюю силу только по острым конкретным вопросам.

Это же самое можно сказать и о писаниях Тито: его доклады растянуты и непропорциональны, но его статьи на конкретные темы хорошо скомпонованы, сжаты и понятны.

Знания Тито невелики - они и не могли быть обширными, поскольку и образование его было скудным: он окончил начальную школу и изучил слесарное дело. И все-таки он знал намного больше, чем давало ему его бедное и бедняцкое образование. Из всех рабочих-коммунистов, которых я встречал - а встре-

чал их я множество, причем сметливых - в тюрьмах, на подпольной работе, и во время революции, Тито выделялся широтой знаний, а в особенности сообразительностью и остротой ума. Он во многом разбирался, хотя втайне страдал из-за необразованности во многих областях, особенно в области литературы, искусства и философии, а также из-за своего пальца (если точно помню: у него не было части указательного пальца на левой руке), покалеченного станком, когда Тито был еще рабочим. Он как бы стыдился, что остановился на уровне рабочего: лишь изредка, когда это было политически выгодно, он упоминал, что и сам был рабочим. На нелегальной работе он одевался франтом, поступая в клуб альпинистов в 1934 году, назвался электротехником, а в своем тогдашнем паспорте указал, что он инженер.

Его технические познания были гораздо шире, чем требовала его специальность: в Сибири, как выздоравливающий военнопленный в конце первой мировой войны он обслуживал паровую мельницу, а в начале тридцатых годов, отбывая приговор в Лепоглаве\* - электроцентраль. При посещении фабрик я заметил, что он знаком с машинами и техническими процессами и живой интерес проявляет лишь при виде новинок. Разбирался он и в сельском хозяйстве: на винограднике в Сомборе (перед войной он купил этот виноградник на партийные средства, а после войны расширил, построил там небольшую виллу и поселил в ней своего брата), он подробно разъяснял нам технику виноделия.

Поверхностно и быстро он схватывал и знал очень много, однако ничего не знал основательно и исчерпывающе - кроме своей слесарной специальности, которой по сути дела стыдился. Даже его знания марксизма были скудны - основные произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, кое-что из экономики и истории. Но и классиков марксизма он знал "неуглубленно" - знакомился с ними в тюремных круж-

ках и в московских партийных школах, как с "символом веры" новой власти. В тюрьме, как я слышал, он был добросовестным и сообразительным "студентом".

Я знаю, что после войны он читал не так уж много. Правда, у него на это и времени не было. Он поверхностно просматривал газеты, внимательно и подробно читал сообщения агентства ТАНЮГ, телеграммы, сообщения и т.п. Он очень мало интересовался литературой, но много — литераторами. Больше ему нравилось пианино и он научился играть несложные вещи: в молодости он считал, что это повышает его престиж, а когда пришел к власти — что это один из элементов его представительных функций. Это — принимая во внимание условия его жизни и зрелый возраст — подтверждает, что он обладал способностями и учился без напряжения. Он красиво танцевал немало чопорный, но изысканный старинный вальс.

И языки ему явно давались без труда: после войны, точнее, после конфликта с Советским Союзом в 1948 году, он выучил английский настолько, что мог следить за разговором и разбираться в несложных политических текстах. Русский он выучил, будучи военнопленным во время первой мировой войны, хотя было очевидно, что он его никогда не изучал основательно: путал наши и русские слова, одинаковые по произношению, но разные по значению. Однако выговор и ударения были довольно правильны — у него был приличный слух и хорошая память. Французский он знал мало и плохо, хотя пробыл в Париже довольно долгое время; правда, там он был занят партийными делами. Считаю, что из иностранных языков он лучше всего знал немецкий — я слышал, как он свободно на нем изъяснялся — однако не могу компетентно оценить, насколько он владел этим языком, поскольку сам мало его знаю.

Хуже всего, относительно, конечно, он владел сербскохорватским языком. Еще самой малой из его ошибок было смешивание "сербизмов" и "хорватизмов".

Но в своих речах он часто вставлял русицизмы, а в выговоре у него пробивался диалект его родного Загорья\*. В народе это усиливало подозрение, что он не наш, а русский, среди интеллектуалов же вызывало иронические реплики: "Даже сербскохорватский язык не удосужился выучить..."

Но он все же учился, хотя и с запозданием. Когда я в 1937 году с ним познакомился, он плохо владел правописанием, но фразы составлял правильно и стиль у него был связный и плавный. Замечания он принимал не упираясь — если они не относились к содержанию. После войны я, а иногда и Зогович, редактировали его речи для ТАНЮГА — честно сохраняя содержание. Он понимал, что это необходимо, но требовал, чтобы правкой занимался кто-то из "ответственных". Помню еще один пример того, как легко он схватывал: после войны он как-то употребил, по смыслу правильно, выражение "сине ква нон", но "ква" выговорил как "куа". Я обратил на это его внимание, и он больше ни разу не ошибался.

По моему впечатлению и опыту, у него не было ярко выраженного военного таланта: военного таланта в узком смысле этого слова: способностей руководить непосредственными боевыми действиями.

В моих воспоминаниях о войне оспариваются также и его военные знания, и его качества как тактика. Такая точка зрения была распространена среди лучших высших военных командиров, и Тито это чувствовал. Косвенно возражая против этого мнения, а также косвенно полемизируя со мной — в 1978 году, когда отмечалось 35-летие сражения на Неретве\* — он подчеркивал, что в Москве, куда он уехал, отбыв срок приговора, в 1934–1935 годах, он специально изучал военное искусство. В этом можно не сомневаться. Однако это, как и многое другое, о чем говорил Тито и что написано в его полуофициальных биографиях, следует проверять и точно взвешивать. Прежде всего, Тито пробыл тогда в Москве очень ко-

роткое время и был слишком занят работой в Коминтерне, чтобы у него еще оставалось время для основательного изучения военных наук. К тому же у него не было необходимого для этого среднего образования. Иностранцы курсанты партийных школ в Москве проходили военную подготовку в обязательном порядке – однако в самых общих чертах, поверхностно. Вероятнее всего, Тито посещал именно такие занятия. Кроме того, у него имелся боевой опыт, причем немалый – он был унтер-офицером австро-венгерской армии в первой мировой войне. Это чувствовалось как в том, что он считал ужасы войны естественными ее спутниками, так и в том, что он разбирался в военной организации и в солдатской жизни.

Но какими бы военными знаниями он ни обладал, полководческого таланта у него не было и не могло быть – уже из-за его порывистого темперамента, нервозности и чересчур большой заботе о личной безопасности. Он слишком часто отменял свои собственные приказы и тут же отдавал прямо противоположные, передвигал крупные подразделения, не согласуя это с ходом сражения, впутывался в мелочи.

Указанные выше недостатки раскрылись в трех самых крупных и решительных сражениях, которыми он непосредственно руководил.

Осенью 1941 года, во время так называемого Первого наступления, которое закончилось ликвидацией так называемой Ужицкой республики\* и свободных территорий в Западной и Центральной Сербии, хаос и поражение приняли такие размеры, что сам Тито предлагал подать в отставку, по мнению некоторых, с поста главнокомандующего, а по-моему, с поста секретаря партии. Конечно, были и другие причины такого количества столь крупных неудач и отступления Верховного штаба из Сербии с менее чем двумя тысячами партизан: "левацкий уклон", жестокость террора, влияние старых общественных структур. Но определенную роль сыграли и растерянность

Верховного командующего, и его неумение предугадать ход событий.

Во время Четвертого наступления, а особенно в сражении на Неретве в начале весны 1943 года, Тито беспрерывно менял приказы, а преждевременно разрушив мост на Неретве чрезвычайно усложнил и затруднил выход из окружения. Правда, обстановка была необычайно тяжелая. Несмотря на ошибки и нервные реакции, сражение можно считать в общем выигранным, хотя главным образом благодаря находчивости командиров, а не главнокомандующего.

Во время Пятого наступления Тито – что для него необычно – принимал решения с запозданием. Я во время этого наступления не был все время возле него, а находился при охранении. Но от командиров я слышал, что руководящая роль Тито плохо ощущалась, что выглядел он растерянно и все стремился ускользнуть со своей личной охраной куда-то в сторону. Известно – об этом писал и я – что он сердился на командиров, совершивших прорыв, за то, что они его "не подождали".

Однако, несмотря на то, что Тито плохо командовал упомянутыми операциями – в них ярко проявились его качества как политического руководителя. Сражение за Ужице было проиграно, но Ужицкая республика и организационно-политическая работа в ней имели широкий отклик и дали драгоценный опыт. Сражение на Неретве принесло непоправимое поражение нашим главным внутренним врагам, четникам Дражи Михайловича, укрепило внутреннюю уверенность новой партизанской армии Тито и привело к тому, что союзники признали Тито и новую Югославию. Сражение при Сутьеске – триумф воли революционных войск над современной армией: эта воля, без сомнения, была сплавом духа Тито и воинственности и непокорности нашего народа.

Больше того: после неудач и падений Тито быстро оправлялся и без особых мудрствований и

"самокритики" - извлекал из них познания и новый опыт: как будто в нем были какие-то неуничтожаемые омолаживающие силы.

Но это и есть в первую очередь качество политического, а не военного руководителя. Точнее: качества политического вождя на посту боевого командира. А именно таковым и был Тито во время войны - единственный талант Тито, политический, ярко проявлялся на войне, как на своеобразной политической арене. Этот талант выражался в точной оценке борющихся сил, в отгадывании развития хода войны и - что важнее всего - в нахождении адекватных организационных форм.

Тито и во время войны тщательно следил за сохранением своего авторитета и власти. И его неумелое, а зачастую и суетливое командование могло бы повредить его репутации и уменьшить его вес - если бы партийные работники и боевые командиры не видели в нем смелого и проницательного политического вождя. Он всегда своевременно указывал важные решающие направления, намечал главнейшие задачи и указывал, где следует сконцентрировать главные силы - как по Клаузевицу: верховный начальник не должен уметь хорошо командовать небольшими подразделениями, но обязан правильно оценивать возможности крупных соединений.

Я помню: Тито совершал бесчисленное количество тактических промахов, спешил, когда надо было ждать, мешкал, когда надо было спешить, путался. Но он яснее других разобрался в характере войны, в том, что ее суть состоит в создании новой власти путем борьбы против оккупантов, а одновременно и в создании гарантирующего победу инструмента - превращении партизанских отрядов в регулярную армию.

И я не могу припомнить ни одной большой, чрезвычайной поражением ошибки - кроме "левого уклона" в Сербии и Черногории в конце 1941 и начале 1942 года. Но в ней повинны и остальные руководители -

Тито же постольку, поскольку на нем лежала наибольшая ответственность в связи с занимаемым положением и полномочиями Коминтерна. Но он во-время заметил и этот уклон и повел партию верным путем к победе. Путаные и противоречивые боевые приказы, а тем более тщеславие и кичливость, отходят на задний план, память о них слабеет и они забываются, если вождь и руководство неизменно ведут от победы к победе, к невиданному еще царству братства и свободы. О недостатках и ошибках вождя и руководителей вспомнят лишь тогда, когда окажется, что наступление этого царства не столь уж бесспорно, как это казалось в те времена, когда за него приносили себя в жертву.

В чем заключается политический талант - то есть и талант Тито?

Может быть, в некоторых областях и есть достоверные и окончательные ответы - в политической области их, надо признаться, нет. Политический талант, как и любой другой - личный талант, но осуществить его возможно только с помощью больших, тоже "талантливых" групп: вождь и движение, вождь и народ слиты, живут одной жизнью. Об этом можно было бы долго и много рассуждать - более ученые и знающие уже проделали эту работу. Я укажу только на некоторые качества Тито, которые "не обязательны" для всех политиков без исключения, но которые ему без сомнения помогли, а может быть даже обеспечили его исключительный "несоразмерный" успех в политике.

Это необычайно развитое, не только стихийное, но и рациональное, ощущение приближающейся опасности, неудержимая воля к жизни - как можно более продолжительной - и неугасимая, коварная и непреодолимая воля к власти. Эти качества Тито обнаруживались в разных видах и с неодинаковой силой - иногда одно из них таилось, как бы затухало, чтобы затем снова вспыхнуть. Я бы сказал, что все они

были воплощением одного и того же инстинкта, который выявлялся — в зависимости от необходимости — то в одном, то в другом виде. Обладают ли все политические вожди этими качествами? Я в этом сомневаюсь. Если и обладают, то не всегда. И проявляются они не с одинаковой силой. Но я убежден, что без этих качеств не было бы ни Тито, ни дела, которое связывают с его именем — зачастую без достаточных на то оснований.

### 3. ВОЖДЯ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ, ЕСЛИ ОН НЕ СОЗДАЕТ САМ СЕБЯ

Тито родился, как говорится, бунтовщиком, то есть как личность, которая перемену существующей обстановки соединяет, отождествляет с изменениями своего собственного положения. С самого начала он стремится к чему-то более высокому, чем к занятию своим ремеслом, к которому побуждало его крестьянское происхождение и бедность многодетной родительской семьи. Он часто меняет работу в Австрии и Германии; попав в австрийскую армию в 1913 году, он вскоре поступает — по собственному желанию, как я понял из разговоров с ним — в унтер-офицерскую школу. До этого, будучи рабочим, он записался в профсоюз, а тем самым и в социалистическую партию; но одновременно с этим у него начинают проявляться и национальные эмоции — хорватские и югославские. Но никакой особой активности он не проявлял, да и не мог проявить: социалисты были тогда в пеленках и не проявляли революционности. А югославские идеи существовали еще главным образом в головах идеологов и очень немногих профессиональных политиков. В начале войны, во время марша на фронт — Тито, по всей вероятности, был в армии, действовавшей против Сербии, — он недолго, всего одни сутки, был под арестом в Петроварадине\*. Дидиеру он рассказы-

вал: за то, что он в раздражении заговорил о своем намерении перебежать к русским. А недавно он заявил - и это зафиксировано на пленке - что был арестован по ошибке военных властей.

На фронте он был сначала в армии, действовавшей против сербов (и его биографы, и он сам этот факт до недавнего времени замалчивали); затем он был на Карпатском фронте - против русских.

Однако он к ним не перебегает. Наоборот, он отличается как начальник команды разведчиков. Он и потом рассказывал, что охотнее всего ходил в разведку. А недавно в Австрии опубликовано относящееся к тому времени представление Йосипа Броза к награде за смелость и находчивость на разведке и за то, что он приводил "языков". Да и после, когда он летом 1915 года был ранен и попал в плен к русским, он не пошел в сформированные из южных славян добровольческие части\*, а остался в лагере военнопленных, где его избили и посадили за то, что он, как представитель пленных, выступил против злоупотреблений русского лагерного начальства. После февральской революции он бежит из лагеря в Петроград и участвует в июльских демонстрациях, которые в большевистской историографии считаются ошибочными. "Я думал, - рассказывал нам Тито, - что с революцией все кончено..." Его ссылают на Урал, он бежит в Сибирь, где его застает Октябрьская революция.

В Сибири он познакомился со своей первой женой, Пелагеей Белоусовой. В России он в 1920 году вступает в партию. В том же году возвращается на родину. Период 1920-1924 годов "наименее активный" в политической жизни Тито. Но это и период распада и пассивности коммунистической партии Югославии - после ее запрещения и судов над ее лидерами. В эти годы у Тито рождается трое детей, из которых двое умирают. Но и этот период заканчивается увольнением Тито с работы в связи с его поли-

тической деятельностью. Наступают годы бродяжничества Тито по Югославии - он всюду лишается работы из-за политической активности. В Бакре его арестовывают и приговаривают к семи месяцам ("стол семерых" в Загребе снижает наказание до пяти месяцев). Активность Тито особенно проявляется в профсоюзах - иногда он бывал и в профсоюзном аппарате, на заработной плате. В начале 1928 года он попадает в руководство партийной организации Загреба, как один из сторонников - может быть самый деятельный, но, во всяком случае, не единственный, как сообщают официальные историки - так называемой "загребской линии", направленной как против "левой", так и против "правой" фракции. Но в августе его снова арестовывают и на так называемом "процессе бомбистов" приговаривают к пяти годам каторжных работ. На суде он заявил: "Я не признаю себя виновным, .. потому что компетентным считаю не этот суд, а только суд партии..."

Заявление это, без сомнения, подтверждает его смелость и преданность партии, хотя и является частью ритуального, предписанного партией поведения коммуниста перед лицом "классового суда". Это заявление, а также поведение Тито на суде, превращены теперь в нечто неповторимое и легендарное, хотя были и другие коммунисты, которые себя вели так же: писаная история справедлива лишь по отношению к своим хозяевам. Более того, в официальной историографии подчеркивается, что бомбы, найденные у Тито при обыске, были подложены ему полицией. Ведь неудобно признать, что нынешний прозорливый и непогрешимый вождь накапливал оружие в период, когда условия для вооруженной борьбы еще не созрели. Однако, как перед войной рассказывал Тито, в том числе и мне (правда, в то время он еще не был нынешним вождем), он считал тогда, что условия для вооруженной борьбы и революции вот-вот

наступят - причем таково было и мнение тогдашнего партийного руководства.

Королевская же полиция хотя и была бесцеремонной и жестокой, никому ничего не подкладывала; королевство Югославия было плохим, недемократическим государством, но в этом государстве законов придерживались больше, а суд был самостоятельной, чем в нынешнем.

Пять лет каторги Тито выдержал с достоинством - он мне, например, рассказывал, как он отказался выполнить приказ тюремщика, который хотел заставить его собирать окурки. О нем и о его поведении я слышал от коммунистов, побывавших на каторге, только похвалы. Уже тогда, в отборной коммунистической среде, Тито отличался живостью и твердостью, усердием при изучении марксизма, проницательностью. Но также и скрытностью и недоверчивостью. После тюрьмы Тито в конце 1934 года по решению партии эмигрирует в Вену, а затем в Москву.

1935 год - в Москве это период чисток. Начинается новый, судьбоносный отрезок жизни революционера Йосипа Броза, который прошел уже через многие тяжелые испытания, но которому еще лишь предстоит понять, что хотя революционные институты и методы неотделимы от идеи, но они - важнее ее, и даже важнее самой революции...

Но эта работа - не биография Йосипа Броза Тито. Я хотел только показать существенную черту его личности: активное сопротивление существующей реальности, активная попытка создать новую, свою реальность. Йосип Броз начинает от нуля, как ничего собой не представляющий человек - но с самого начала не желает с этим мириться.

Фамилия Броз происходит от имени Амброз, Амброзий, Амвросий и упоминается уже в XV веке, но нет никаких признаков, что семья Тито в родстве с теми "первыми" Брозами. По семейному преданию Брозы, от которых произошел Тито, переселились в За-

горье, вероятно в XVI веке, с далматинско-боснийской границы. А на эту границу они - по скупым фразам Тито - пришли из Черногории, из племени Куча. Родня Брозов - многочисленна - среди них были и образованные и видные люди в Загребе. Но ветвь Тито - крестьянская. Дом, в котором родился Тито 7 мая 1892 года, - один из лучших в Кумровце. Семья бедствовала скорее всего от многодетности - пятнадцать человек детей, из которых восемь рано умерло, - и не столь от малоземелья, сколько от доверчивости отца, Франьи, дававшего гарантии на чужие векселя. Восемь ютров (около четырех гектар) земли недалеко от городского рынка - не так уж мало, хотя земля была и не очень плодородная. Мария, мать Тито - словенка из захиточной крестьянской семьи. Детство Тито провел, главным образом, у деда по матери, и похож он был на мать. Никто из братьев и сестер Тито не отличался ни успехами, ни неудачами; своей карьерой он не обязан никому из близких, сам же он помог некоторым родственникам извлечь пользу из его карьеры. Тито с самого начала, с ранней молодости отказывается быть похожим на других - на братьев и сестер. Война, революция в России и коммунизм, вот реальность, мечты и опыт, формировавшие его личность. В другой, мирной и не тронутой идеологией обстановке, он был бы профсоюзным работником или предпринимателем, суровым отцом и своенравным мужем.

В коммунистической, мессианской "исторической роли рабочего класса" Тито находит и личное, свое, и жертвенное общественное призвание. Хотя в глубине души он и не ценил рабочих, он неотступно, непримеримо отстаивал рабочую - свою - "историческую роль". Когда он произносил: "рабочий класс", "рабочие", "люди труда", то всегда ощущалось, что он говорит о себе - о стремлении народных и социальных низов к сиянию власти и блаженству властвования. Тито в коммунизме нашел себя, а коммунизм

в нем — одного из своих самых удачливых и своеобразных протагонистов. Я знал коммунистов идеологически непоколебимых, но не знал ни одного, кто бы так как Тито, до мельчайших оттенков настаивал на том, что он — особый, неповторимый. Некоммунистическая, антикоммунистическая приверженность к роскоши, драгоценностям и помпезности — только одна сторона этих его стремлений — все усиливающихся, становящихся все более навязчивыми и целеустремленными по мере увеличения его личной власти.

Но его исключительность — подлинная или разыгрываемая — не обходилась без банальности и вульгарности. Роскошь Тито, его погоня за модой, чрезвычайны характерны для выскочки, его монарший образ жизни и самодержавный метод правления старомодны и оскорбительны. Но он обращал на это внимание, только когда замечал, что дело идет об уменьшении его роли и престижа... Когда американский "Лайф" опубликовал в конце 1949 года его фотографии — с дачами, конями, салонами, собаками — Кардель и его круг, в который входил и я, были в Нью-Йорке на заседании Объединенных Наций. Мы заметили, что Тито изображен чем-то вроде латиноамериканского диктатора. В связи с ее сопротивлением советской гегемонии популярность Югославии росла, ее руководству надо было показать себя в несоветском, более демократическом свете, и я (после возвращения в Белград мы собрались и в неофициальной обстановке сообщили о своей поездке) обратил внимание Тито на отрицательные стороны такой популярности, употребив то же выражение как, если не ошибаюсь, употребил Беблер в Нью-Йорке — "латиноамериканский диктатор". Тито покраснел и умолк. Но ничего не изменилось, разве что какое-то время он вел себя более осторожно с западными фоторепортерами. А когда в 1950 или 1951 году обсуждалась ликвидация личных вилл, закрытых пансионеров и санаториев для руководства, Тито сказал, что он отка-

жется от своего особняка в Опатии, поскольку тут же вблизи находится его резиденция на Брионских островах — и он им не пользуется.

Виллы и дворцы для него и дальше продолжали строить или же резервировать — в некоторых он, может, ни разу и не переночевал. А когда в 1953 году многим городам, фабрикам, улицам, коллективам были возвращены их старые названия (при переименовании после войны их называли именами еще живых функционеров и это было потом признано ошибочным) Тито с этим согласился. Однако его имя, как "символическое" не попало под это "обратное" переименование. Нечто схожее произошло и с так называемой Эстафетой Тито. Когда развенчание "культы личности" Сталина на XX съезде КПСС вызвало по аналогии подобную же реакцию в Югославии, то Тито предложил, чтобы эстафета проводилась не в честь дня его рождения, а в честь Дня молодости. Празднество стало таким образом еще более массовым, "всенародным" — в соответствии с тем, как понимал Тито свою "харизматическую" роль и как, по его мнению, обезличенный и "монолитизированный" народ должен относиться к вождям.

Все, что было связано с его личностью, Тито ревниво охранял. Тот, кто прикасался к его привилегиям и его стилю жизни, рисковал попасть в его немилость, а иногда и быть обвиненным во враждебном уклоне и антипартийности.

Такое поведение соответствовало его внутреннему облику: Тито всегда и во всем оберегал свое достоинство, свою исключительность. Никогда, даже на войне, во время стоянок в лесу и на ночных маршах я не видел его в какой-нибудь неподобающей позе и не слышал употребляющим нецензурные выражения; он был всегда выбритым и чистым, невзирая на тяготы войны и стремился, чтобы все ему принадлежащее — одежда, конь, оружие — были лучше, чем у других. И товарищи, тогда его окружавшие, нежно о нем за-

ботились, старались, чтобы ему было получше и поудобней. С усилением власти и его роли в этом процессе, изменялись и усиливались и его стремления к исключительности, и усердие приближенных: недемократическая власть превращала гордость и другие ненавязчивые качества в себялюбие и самоволие, а ближайших и вернейших соратников в олигархов и царедворцев.

Личности оставляют след на "своей" эпохе и на "своем" строе в зависимости от своих духовных и творческих сил. Но чем государственное устройство и народ самостоятельней, чем больше они отделены от вождей, тем свободнее они сами и их творческие силы. Отождествление вождя с народом и историей наносит урон всем - жизнь требует постоянного движения и все новых просторов. Тито это не совсем понимал: он ставил себя выше народа и создавал себе не то имя, какое создавали ему народ и движение. Все это будет у него когда-то отнято, потому что оно ему не принадлежит. Но он останется исторической, политически талантливой и во многом творческой фигурой: хотя он и пытался неразрывно связать со своим именем исторические свершения, государство и народ - он не лишился разума и не пошел по пути безумного насилия.

#### 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ - ВЫСШИЙ, НАИВЫСШИЙ ВИД СМЕЛОСТИ

Во время войны бросалась в глаза забота Тито о жизни партработников - "кадров", а еще больше - о своей собственной жизни. Более того, эта забота как бы возрастала по мере роста его роли и личной власти.

Это не были просто эмоции: в этом была и ответственность перед партией и восстанием - что станет с ними, если он погибнет? Но еще больше присутствовало в этом стремление увенчаться славой и насладиться абсолютной властью, завершив начатое дело - как я уже подчеркивал, для него власть и революционные свершения были почти что идентичны.

Но как бы мы не объясняли его поведение во время войны, он, без сомнения, интенсивно и чутко ощущал опасности, грозящие армии, а не только лично ему... Во время так называемого Четвертого наступления, в окружении на Раме и Неретве, он - как я уже говорил - все время менял приказы, к тому же непродуманные. Но одновременно он провел и опасную, жертвенную и смелую перегруппировку для спасения раненых и при этом не только разбил немцев на Вилича Гумне, но и освободил партизан от "немецкого комплекса" - от укоренившейся уверенности

в превосходстве немецкой армии. Тито вел себя на Неретве как тигр в клетке, который нашел лаз, слабое место - конечно, там, где находились итальянцы и четники - сквозь которое, расширяя его, прорвался партизанский поток.

В начале Пятого наступления, в мае 1943 года, у него вырвалось: "Еще никогда мы не были в такой опасности!" Эту опасность чувствовали и другие, но не так интенсивно, не так остро ощущали необходимость принять немедленные спасительные меры по обороне. А были тогда ситуации, в которых судьбоносную роль играли часы, а может быть и минуты (например, выход Второй пролетарской бригады на Вучево до того, как немцы успели закрыть выходы из ущелья реки Пивы, занятие Четвертой черногорской бригадой Любинского Гроба, сыгравший решающую роль прорыв - по собственной инициативе - Первой пролетарской бригады). Личная роль Тито, как командира, в этих боях незначительна, а может и вообще никакая. Но он внушил всем ощущение опасности, заставил действовать немедленно и двигаться в ином направлении.

Потому что Тито - личность мгновения, легко поддающаяся впечатлениям, действующая инстинктивно, иногда чересчур быстро реагирующая в неожиданной и тяжелой обстановке. Такая личность всегда недомеривает и недодумывает. Паника и смелость, верное и ошибочное в ее реакциях перемешиваются, сменяя друг друга.

Но была у Тито и другая сторона - он мог интенсивно, внимательно и собранно думать о больших и решительных шагах. Все, что находится посередине - в промежутке между мгновенными, инстинктивными и осмысленными, далеко идущими решениями - не типично для Тито. Это - не Тито, хотя и он, главным образом, действует и живет "посередине", в серых банальных буднях: жизнь и состоит главным образом из серых банальных будней. Как будто в Тито

живут две личности! Но это только кажется: нервный и порывистый Тито как бы подготавливает, накаляет и очищает того, второго Тито - продуманно действующего и одновременно стихийно хитрого, лукавого и смелого в принятии решений: а стихийная хитрость и смелость при принятии решений и составляют мудрость и храбрость политического вождя.

И действительно, при принятии политических решений, решений, имеющих судьбоносное значение, Тито необыкновенно смел. И почти непогрешим - если непогрешимость приравнять к успеху и если стать на точку зрения Тито и движения, которым он руководил.

Коминтерн, вернее советские службы, назначают Тито главой компартии Югославии в 1937 году - в период чисток, после ареста секретаря партии Горкича\* и разгрома югославской эмиграции в СССР. На этот пост, с правом вето (это право облегчит его возвышение, хотя партия и без того уже была "сталинизирована" в идеологическом и кадровом смысле) он, естественно не мог бы попасть, если бы не был "проверен", если бы он не доказал свою верность советскому руководству - или свою неверность "фракционерам" своей собственной партии. Но ведь не его одного, а и других проверяли подобным образом, однако им, тем не менее, не удалось пробраться наверх. Тито потом рассказывал:

"Я не дружил с фракционерами, делал свое дело и следил за тем, что говорил, в особенности в комнатах, где стояли телефоны".

Тито был единственным из руководителей, кому удалось нащупать путь сквозь ужас "проверок" и ликвидаций. Внешне это казалось не так уж сложно: он вовремя почувствовал приближавшуюся опасность. Но одновременно он был также уверен в правильности советского пути - ему помог врожденный инстинкт, предупреждавший его об опасности, а также то, что он уже выучился, уже понял значение власти для судь-

бы движения и идеи. Помню: Тито возвращался из Москвы, "столицы первой страны победившего социализма" нервным, обессиленным, и с облегчением отдыхал среди подпольщиков - в "военнофашистской", "монархофашистской" Югославии...

Но какова была его подлинная роль в чистках, в особенности чистке в рядах югославской партии? Не откупился ли он предательством, не возвысился ли при помощи клеветы на товарищей?

Слова и понятия не всегда сохраняют свое содержание - их смысл зависит от социального и духовного климата, в особенности это касается политического языка, который подвергается извращениям - об этом блестяще сказано у Орвелла. Так, сотрудничество с советскими разведывательными органами в довоенный период - а "кое-где" и "кое для кого", конечно, и сегодня! - почиталось за честь и за знак доверия. Советские агенты были окружены таинственностью могущества и исключительности: коммунисты, так сказать, мечтали, чтобы им досталась высокая честь служить Советскому Союзу. В другой, в изменившейся обстановке эта честь превратится для коммунистов - конечно, не для всех и не повсюду - в позор и предательство. Примерно так же обстоит дело с "клеветой" и доносами на товарищей из собственной партии. Партию, без сомнения, "раздирали" фракции, а советские органы в Москве еще поощряли этот процесс. Уже при Ленине мерилом революционности для коммунистов становится преданность Советскому Союзу, а при Сталине - преданность Сталину. Троцкисты, "правые" и другие "уклонисты" - сознательные и бессознательные - были преданы анафеме, а некоторые и арестованы еще до "Большого террора". Тито же стал секретарем в 1937 году - во время самого разгула массового террора.

Он давно предан Сталину, причем дело не только в том, что он, как и многие, считает Сталина самым верным последователем и наследником Ленина -

тут преданность особая, преданность определенной, сталинской политике, одобрение сталинских методов...

Не следует забывать, что Йосип Броз уже в 1928 году был одним из самых выдающихся противников фракционности и защитником монолитности. А что это означало в жизни партии? Тотальная власть своей линии и своей фракции - неподдельный, чистой воды "сталинизм".

Йосип Броз был за Сталина, за сталинскую монолитность и сталинский Советский Союз еще до отъезда в СССР в начале 1935 года. Более того, Тито - хотя не единственный, но один из числа наиболее активных и смелых - инициатор проведения нового, монополитического и монополистского духа в партии. Сталин и "сталинизм" соответствуют его складу ума и его идеологической зрелости. Он и сам энергично чистит партию, и участие в московских чистках югославских коммунистов для него неизбежно и последовательно. При чем тут угрызения совести, если это "большевизация" - закалка, усиление партии, если это его путь вверх, к идеалу, к власти? Помню, как Тито и Кардель - а они, как бывшие "москалы", знали большинство югославов, арестованных в СССР, - с облегчением говорили о том, как советская власть избавила нас от бремени фракционеров... Звучит как гротеск, когда сегодня Доланц и такие же как он, из "молодых титовцев" утверждают, что Тито еще до войны, причем чуть ли не в центре самой Москвы, начал борьбу против Сталина и "сталинщины". Если бы Тито не был предан Советскому Союзу, вернее Сталину - он не смог бы ни замаскироваться, ни удержаться даже среди нас, югославских "сталинистов", которые и Москвы то не видели. Москва во главе подлинно сталинской, вернее, ленинской партии поставила соответствующую личность.

И все же - по моим впечатлениям и заключениям - Тито в чистках принимал участие небольшое и вто-

ростепенное. Москва была до такой степени разочарована югославами, что по примеру польской партии чуть было не распустили и югославскую. Болгарин, ведающий кадрами Коминтерна, относился к Тито с недоверием. Характеристики на югославов, которые Тито, как секретарь, обязан был давать, он давал задним числом, причем почти все отрицательные - потому что эти несчастные уже до этого или были арестованы НКВД, или с помощью "подпольной кампании" заклеены как враги. А в органе ЦК "Пролетарий" Тито механически объяснял причину исключения из партии арестованных и "фракционеров" с помощью ярлыков, которые выкрикивал на судах Вышинский: "троцкист", "предатель", "фракционер", "шпион", "элемент" - чуждый или антипартийный.

И в Югославии партия тоже держала курс на непримиримую чистку, хотя ее символической фигурой не был Тито - Тито почти все время проводил за границей. Но у нас в то время нельзя было сажать в тюрьмы: новые поколения, погрязшие в революционной активности, мало знали о страдальцах в СССР, а то, что знали, быстро забывали. И Тито, будучи уже в стране, тоже был захвачен ответственной, самой ответственной работой. И хотя он поддерживал с Москвой и с советскими разведчиками связи, о которых остальные члены Политбюро или только догадывались, или знали столько, сколько он считал нужным - я думаю, что на деле и скрывать ему приходилось не так уж много: на практике Тито постепенно ускользал из-под советского контроля. Он обрадовался, когда мы ему, после его возвращения из Москвы в 1939 году сообщили, что нам удалось добиться финансовой независимости партии. Это был первый шаг к нашей независимости - гораздо более значительный, чем нам тогда казалось.

А когда началась война и революция, начались и политические расхождения между новой мировой державой и революцией небольшой страны. Тито с тру-

дом находил общий язык с Москвой. Он испрашивал советы у Коминтерна, но решения по важным вопросам выносил сам или совместно с товарищами. Наиболее важные решения на Втором заседании АВНОЮ\* в Яйце 29 ноября 1943 года были приняты без ведома Москвы и вначале натолкнулись на ее несогласие. А эти решения превратили Югославию в федеративную страну, фактически прекратили существование монархии и узаконили революционную власть во главе с коммунистами.

По мере того как укреплялась революция, усиливались роль и вес Тито в Москве. Москва попалась в собственные сети: противодействовать усилению Тито, которое было следствием революционного процесса и планомерной пропаганды, советские верхи не могли, потому что сами безмерно раздували "культ" своего вождя, - а Югославия была независимой страной. Во время назревания конфликта с Советским Союзом "культ" Тито, в который составной частью входило подражание "культу" Сталина, помог Югославии усилить отпор и оторваться от СССР.

Могут, и не без основания, сказать, что демократическая Югославия оборонялась бы и без "культа", в силу самой своей социальной структуры. Но в то же время она уже была преобразована в авторитарную, автократическую страну и в ней почти не было других сил, кроме коммунистических. Советским претензиям можно было противопоставить лишь методы и мысли, схожие с советскими. В тогдашних условиях дать отпор Москве могла только ленинская, вернее сталинская партия, только что совершившая успешную революцию... Политика, проводящаяся только по правилам, схемам, примерам, осуждена на гибель.

Как Тито принял конфликт с Советским Союзом в 1948 году? Какова его роль в нем?

Хотя разрыв с Москвой произошел не сразу, а постепенно, Тито его, и психологически, и умом, перенес с большим трудом: близко стоявшие к Тито, а

больше всех сам Тито, считали, что именно тогда начались у него нелады с желчным пузырем. Перед общественностью и не близкими ему людьми, а в особенности перед представителями советского посольства — когда приходилось с ними встречаться — он разыгрывал спокойствие и собранность. Это удавалось ему неплохо, он был талантливым политическим актером. Конечно, советская разведка, у которой были свои люди в его окружении, знала правду о его состоянии. И перед близкими ему людьми Тито не мог, и не умел, скрывать свои подлинные переживания.

В эти дни и месяцы он легко возбуждался и сердился, но также хотел демонстрировать дружбу и сердечность по отношению к самым близким и ответственным товарищам — дружбу и сердечность, от которых он уже успел отвыкнуть, в особенности к концу войны и в первые послевоенные годы. Он уже стал революционным деспотом, самодержцем и диктатором, без нынешних, пусть неполноценных, институций и пользовался прочной поддержкой Москвы, которая, правда, в глубине души его недолюбливала... Конец войны и два-три года после ее окончания поэтому запечатлелись в моей памяти как недостойные и нетворческие: из подающего надежды писателя и революционера я после победы превратился в помощника монарха, еще более абсолютного, чем был король Александр, и пропагандиста неудавшегося, явно несправедливого государственного устройства. Я хотел отойти и снова заняться литературой. Об этом я даже говорил с Тито — он согласился, чтобы я распределил время между литературой и пропагандой. Но ощущение приближавшегося конфликта с Москвой родило во мне новые мысли и надежду на какое-то обновление, освежило чувство долга по отношению к стране и к партии.

Но хотя Тито внутренне мучился разрывом с Москвой — он не только ничуть не колебался, но усиливал и свою, и государственную независимость.

Озлобленная и нервная реакция, присущая Тито в сложной и запутанной обстановке, во время конфликта с советским руководством усиливалась из-за его старых обязательств по отношению к Москве, а еще больше — из-за заботы о Югославии, вернее о результатах своей деятельности. На Тито, без сомнения, давило его прошлое, но еще больше — настоящее... Позже, вероятно в году 1949, он сказал по поводу югославских руководителей, ставших жертвами московских "чисток": "Надо было их стукнуть по головам, но самих голов не снимать!" А в июне 1949 года в парке дворца Брдо возле Кранья, где подготавливался ответ, в котором руководство КП Югославии отказывалось от участия в заседании Информбюро в Бухаресте — где происходило "идеологическое" осуждение югославского ЦК, Тито самоотверженно и гневно сказал мне: "Пасть на своей земле — это остается!" Конечно, не он один придерживался такого мнения, но поскольку он стоял во главе, он был решительней остальных: политик, который не приносит себя в жертву своему делу, — не настоящий политик, если даже дело и не стоит той жертвы...

В ЦК и вне его были коммунисты, которые вели себя во время конфликта с Москвой не менее смело, чем Тито. Но роль Тито была наиболее важная, решающая. Иначе и не могло быть, поскольку в его личности были сконцентрированы власть и авторитет. Конфликт произошел бы и без Тито, и я верю, что сопротивление было бы успешным. Но если бы Тито покорился Москве — неизбежно наступили бы разброд и деморализация. Правда, пойти на это он никак не мог: он слишком хорошо изучил и знал большевистскую власть и Сталина, чтобы не понимать, что ожидало бы и его самого. Но это только один аспект, не хочу сказать — личный, поскольку личное у Тито невозможно до конца отделить от его политической деятельности. Другой аспект — отстоять, сохранить государственную власть и Югославию. Личная судьба

его сплелась, если не слилась с личной абсолютной властью, которую в этот момент по стечению обстоятельств оспаривало только просоветское меньшинство в партии. Смелость и твердость в конфликте с Москвой были одновременно и долгом Тито, и его личной судьбой, и его исторической миссией.

По всей вероятности из-за такого переплетения личного и объективного, личной опасности и исторической миссии, Тито проявил свое особенное качество - своеобразную прагматическую пронизательность. Он тотчас ощутил, что его, вернее югославская сильная сторона заключается в государственности: Югославия - международно признанное государство, нападение на нее должно вызвать осложнения, даже в том случае, если бы не разгорелась "холодная война". Личная власть, которой он добился, в сознании Тито - и в реальности - совпадала с государственной независимостью.

Кроме того, Тито и не считал, что он силен в отвлеченных идеологических препирательствах: Кардель и я - позже, когда разгоревшийся с Советским Союзом спор стал наносить ущерб "нашей" партийной идеологии - должны были убеждать Тито, что мы упустим возможности, потеряем уверенность и равновесие, если не вступим в идеологическую борьбу с советской системой, не обоснуем свои позиции идеологически.

Среди узкого круга высшего руководства не было разногласий относительно сопротивления советскому давлению. Вначале были небольшие оттенки в точках зрения. "Теоретическое" крыло - Кардель\* Кидрич\*, Бакарич\*, я и другие - напирало на усиление конфликта в области теории. Конфликт для этого крыла был выражением кризиса ленинизма, советской формы социализма. Тито, Ранкович\* и "практики" склонялись к сведению конфликта к сфере власти и государства. Но вначале в головах и тех и других происходили целые бури - иногда я почти физически ощущал, как

в их умах лопаются обручи унаследованных, механически воспринятых догм... Но одним лишь этим нельзя объяснить упрек Тито мне и другим, неназванным, который он бросил недавно. Через много лет после моего расхождения с ним, он пожаловался на то, что была убрана часть из его ответа на письмо Молотова и Сталина от 27 марта 1948 года. В этом ответе Тито сформулировал - действительно четко и обоснованно - какими должны быть отношения между социалистическими странами. Тито раздал этот текст для ознакомления перед заседанием Политбюро - это было характерно для тогдашней атмосферы и перемены в его поведении: раньше он этого никогда не делал! Кто-то заметил - думаю, это был я - что эта часть особенно рассердит советское руководство, так как она касалась области, в которой они уже господствовали. Кардель, Ранкович и остальные присутствующие согласились с этим и настаивали, чтобы именно я обратил на это внимание Тито. На заседании я это сделал, и Тито это замечание принял без возражений... Вскоре, после 1949 года обе тенденции слились воедино: Тито принял идеологические нововведения - а потом, после смерти Сталина, снова их отбросил, как политический балласт и угрозу своему единовластию.

Несмотря на то, что Тито страдал от столкновения с Москвой - он это столкновение подготавливал. Правда, готовил его не он один, и не он был в этом вопросе самым радикальным. Отношения с Москвой развивались зигзагообразно, пока не обозначились обычные советские стремления к экономическому и политическому господству. Мы то упирались, то уступали - в зависимости от оценок и обстоятельств, но не теряя управления и независимости. Мало-помалу мы начали в узком, а затем и в более широком кругу, бросать упреки советской системе и критиковать советскую политику по отношению к нам, а в некоторой степени и по отношению к Восточной Европе. Ти-

то высказывался осторожно, но настойчиво - естественно, в самом узком кругу и только после того, как в его сознании создалось представление об опасности - грозящей лично ему, Югославии, его делу.

Это был мучительный процесс отрыва от догмы и реальности - от догмы и реальности, которые до вчерашнего дня были еще своими, собственными. Эта мука, эта внутренняя борьба не мешали Тито - а может быть обратным воздействием даже побуждали его на смелые и находчивые действия. В конфликте с Москвой, во время этого умственного и эмоционального напряжения были и промахи и впадения в крайности. Особенно этим отличалась идея Тито - а это была главным образом его идея - вырвать Албанию из-под советского влияния и подчинить Югославии. Сталин и советское правительство как раз и использовали югославские преувеличенные и гегемонистские претензии к Албании как повод, чтобы начать нажим на Югославию и подчинить себе восточноевропейские страны. Большую роль в этих претензиях на Албанию играли попытки Тито подражать советской политике и одновременно защитить себя от нее. Но Тито разумно отступил перед советским и албанским отпором и предпочел реальное и выполнимое - оборону Югославии, себя самого и своего дела... Если бы югославские коммунисты в этом идеологическом конфликте давали более свободные формулировки, их отпор советскому экспансионизму мог бы увенчаться и более значительными и далеко идущими результатами - однако их руководство и вождь все еще находились под магическим влиянием власти и идеологии. Но не история - политическая борьба и политические связи - выбирает вождей, а вожди выбирают историю. В идентификации себя с историей, с делом, в котором он играл наиболее значительную роль - сила и слабость Тито: смелость и самопожертвование в важные исторические моменты, но одновременно и ограниче-

ние течения жизни, уменьшение гражданских свобод, манипуляция людьми и народами...

## 5. ВЕРНОСТЬ ИДЕЯМ – КОНЕЧНО, ТЕМ, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ СТРОЙ И ЛИЧНУЮ РОЛЬ

С марксистской или с любой коммунистической точки зрения можно убедительно доказать, что ни один коммунистический вождь не был коммунистом. Не был им Ленин, а Маркс и Энгельс – с натяжкой. Какое отношение к коммунистическому интернационализму имеет отношение тот факт, что Ленин получал деньги от немецкого генерального штаба? И что он – так сказать, через день после захвата власти – заключил мир в Брест-Литовске с генералами Вильгельма? Энгельс – промышленник с аристократическими манерами; Маркс играл на бирже, а в очернении противников он – образец и предтеча сталинской школы. О Сталине же достаточно будет лишь упомянуть, что он – по официальным данным – одних коммунистов истребил семьсот тысяч! Больше, чем все вместе взятые реакционеры с момента зарождения "научного социализма".

Между политической философией и ее осуществлением неизбежны расхождения – которые, по-видимому, тем глубже, чем более непримиримо политическая философия претендует на "научность" и непогрешимость. Нечто схожее существовало в прединдустриальный период с религиями: князья церкви редко были примерами того, что проповедовали, а короли слишком час-

то укрепляли свои правоверные престолы опустошениями и резней. Любое политическое учение – уже тем самым, что оно, в лучшем случае, только духовная, "логическая" редукция данных реальностей – может только лишь гомогенизировать сознание, служить моделью, ориентиром, мобилизовать определенные социальные группы. Живая жизнь складывается из разнообразных и непредсказуемых факторов. Поэтому и коммунистических вождей нельзя было бы обвинять в непоследовательности и непринципиальности больше, чем других – если бы эти вожди не были столь нетерпимы и не удушали бы насильем человеческую мысль и зарождение новых идей.

Если бы Тито подвергли анализу согласно коммунистической доктрине, то оказалось бы – скорее из-за его королевского образа жизни, чем из-за авторитарного образа правления, – что он один из наиболее непоследовательных, самых "некоммунистических" правителей. И несмотря на это – а на самом деле именно поэтому – он один из наиболее удачливых. Более того, хотя его имя будет упоминаться без сентиментальных вздохов даже многими коммунистами, оно также не будет вызывать и малой доли того ужаса и проклятий, как имя Сталина. Это мое убеждение – пусть обремененное моим прошлым и моим сотрудничеством с Тито – я основываю на анализе как коммунистических, так и других автократов. ... Не напрасно один из моих друзей остроумно заметил: коммунизм тем лучше, чем он хуже, чем он непоследовательней.

Однако из этого не следует выводить заключения, что Тито был иным – лучшим или худшим, чем другие коммунистические вожди, или что он был более лабильным, менее твердым в марксистско-ленинской идеологии. Он попросту хорошо ориентировался, если не сказать приспособлялся, к условиям. А условия менялись быстро и основательно, в особенности после ссоры с Советским Союзом в 1948 году...

Теперь уже известно, с какой жестокостью - с недостаточным индивидуальным разбором, или безо всякого разбора - расправлялись во время победы с контрреволюционными противниками\*. Известны разрушительные результаты начатой по идеологическим причинам "антисталинской" коллективизации - ее проводили, чтобы доказать, что Сталин неправ, обвиняя югославскую компартию в проведении кулацкой политики. Я уже не упоминаю насильственные и до сих пор еще не изжитые "ждановские" методы в духовной области. Согласно наклеиваемым официально и полуофициально ярлыкам, за эти методы ответственен лично я - даже через тридцать лет!

В той же степени, в какой мы после 1949 года ужасались сталинской клевете и нападкам, мы перед этим гордились похвалами Сталина. Когда крупный деятель польского Министерства иностранных дел - слишком молодой для такого поста, зато коммунист - летом 1946 года на автостраде Блед - Люблина рассказывал, как Сталин ругал польскую делегацию, (в которой был и он) за чрезмерную мягкость к политическим противникам и хвалил Тито ("Тито молодец - он их всех ликвидировал!"), то я и товарищи из ЦК испытывали некое суровое и горделивое чувство. Все это я привожу ни в осуждение кому бы то ни было, ни в оправдание самому себе - я был когда как, в чем-то "хуже", в чем-то "лучше" других - а как исторический факт и урок на будущее. Политику невозможно ни понять, ни осуществлять вне полноты конкретных условий: те же самые люди в разных условиях и подверженные разным идеологическим воздействиям реагируют по-разному.

А то, что Тито - как и Сталин, и Мао Цзе дун - отходил от чистого коммунистического учения, скорее подтверждает, чем отрицает его твердую и неизменную приверженность марксизму и социализму, вернее - ленинскому варианту коммунизма.

Чем были для Тито идеология, марксизм-ленинизм? Что было для него существенным, неизменным и необходимым в идеологии? Уже из личного опыта и пропагандных писаний и высказываний о русской революции - сыгравших для него без сомнения решающую роль и бывших переломным пунктом в определении им своего политического пути - он должен был осознать, что революцию и новую власть невозможно осуществить и удержать без партии нового типа, партии, централизованной идеологически и организационно. После того, как он вернулся из русского плена, эта мысль подтвердилась на опыте, стала ясней и окрепла во время плутаний и неудач югославской партии. Тито по природе активист: фразерства, красноречия, бесконечных заседаний он не выносил, они ему были чужды - конечно, кроме тех случаев, когда они были составной частью политической акции. Как партийный и профсоюзный активист, он замечал не только бесплодность, но и разрушительное действие фракций для партии, которая должна интегрировать сознание и борьбу класса и добиться своей, революционной диктатуры. До 1928 года он склонялся в партии к "левым". Но частично личный опыт, частично совместные обсуждения с молодыми практиками на низах партии, и уж во всяком случае меры, предпринятые Коминтерном против фракций ("Открытое письмо членам коммунистической партии Югославии" в 1928 году) убедили его, что партия должна быть очищена от фракций и активно работать в массах. Это, кстати, вариант сталинского варианта партии ленинского типа: идеологическое единство партии - сталинское изобретение, которое со временем реализуется в монопольную власть партийного вождя над идеологией. Для Тито же идеологическое единство представляется уже данным, с беспрекословной преданностью ленинизму и советской партии - как образцу. Необходимо "только" очистить партию

от фракций, самый же верный для этого метод - активность и монолитное руководство.

Представление о такой партии и о таком руководстве впоследствии приобретает вид неоспоримой, априорной истины. Пять лет, проведенных на каторге, мешают Тито организационно формировать и укреплять такую партию - кроме как в среде каторжников. Но зато, неожиданно, объявленная королем Александром 6 января 1929 года диктатура вызовет приток новых молодых кадров, неотягощенных фракционным прошлым - они примут ленинизм и ленинско-сталинский тип партии как готовую, проверенную и единственно возможную для революционной практики модель. Такую партийную атмосферу, партийную действительность застанет Тито при выходе из тюрьмы в 1934 году. А в Москве - террор "ради" идеологического единства и бесклассового общества. То, что было для югославов революционным идеалом, в Москве уже осуществилось в виде террора и привилегированного слоя. После того, как Тито примет из рук Коминтерна руководство КПЮ - в 1937 году, после ареста секретаря КПЮ Горкича и после пребывания в Москве - партия в стране уже "большевизирована", беспредельно предана Советскому Союзу и Сталину и находится под руководством "шестоянварских" бескомпромиссных активистских кадров. Когда в начале тридцатых годов в революционную борьбу и партию вступило мое поколение, то для него ленинизм, Коминтерн, Советский Союз, а в середине тридцатых годов и Сталин, и чистки, и показательные процессы - не ставились ни под малейшее сомнение. Правда, мы мало знали, больше верили. Но для активной деятельности это не имеет решающего значения, хотя и не является преимуществом.

Тито все это быстро схватывает и ориентируется на эти новые кадры - он и в этом один из немногих "стариков". Это та партия, которую он желал, за которую боролся и попал на каторгу - он добился,

он заслужил руководства над нею. Руководства личного, диктаторского, которое в то время могла вручать и отнимать только Москва; он же мог лишь проиграть. Однако это было уже не в интересах Москвы, а он на опыте борьбы на родине и вероломства в Москве понял, что в каждой, а в особенности в коммунистической политике решающее значение имеет соотношение сил и интересов. Тот, за которым нет силы в его стране, не имеет возможности удержаться, в особенности в сфере действия советской идеологической тирании, вернее, ее тиранической власти.

Но не только по этой причине для Тито - идеология - марксизм-ленинизм, была и осталась до конца бесспорной, священной и неизменяемой. Для этой идеологии необходима не только такая, большевистская, коммунистическая партия, но необходим и вождь, или по крайней мере руководство, которое будет эту партию вести за собой и оберегать ее "идеологическую чистоту". Идеология и партия жизненно связаны и обуславливают одна другую таким образом, что первая не может и не смеет менять свои основы, а вторая должна непрерывно находиться в состоянии борьбы за свою монопольную власть - до тех пор, пока не наступит то утопическое будущее, когда не станет ни классов, ни власти, ни политики.

Ясно, что подобная власть не может существовать без такой утопической идеологии. Тито это не только выучил и усвоил, но и впитал в себя всем своим сознанием - как условие и средство для своего личного возвышения и своей личной судьбы. Идеология, теория для Тито неотделимы от политики. Правда, он не превращает идеологию в орудие власти - что характерно для советского руководства. Но он и не отделяет власть от идеологии: идеология, "сознание", для Тито - лишь другая сторона власти. Известная гибкость, "либеральность", которую он по временам допускал в теоретических диспутах, никогда не выходила за границу "конструктивной полити-

ки", не говоря уже о критике "диктатуры пролетариата" - партийной монополии власти. А поскольку ход борьбы, структура власти и взаимоотношения в партии гарантировали личную власть Тито - он рассматривал как угрозу для себя и своей роли любой напад на критику власти, на любую ревизию ленинских установок, касающихся этой власти. И реагировал соответствующим образом. Каждый раз, когда в период ссоры со Сталиным высказывались сомнения в социалистическом характере Советского Союза и предчувствовались аналогичные выводы в отношении Югославии, Тито не только протестовал, но и оскорблялся. Иногда мне казалось, что он выступает в роли первосвященника, гневающегося на ереси.

Основы идеологии - материализм, материалистическая диалектика, история, как классовая борьба, неизбежность социализма в мире, роль партии как авангарда при осуществлении бесклассового общества - все это должно было оставаться неизменным, так же как личный авторитет и положение Тито. Когда меня - в связи с разбирательством моего "дела" в январе 1954 года - вызвали на разговор с Тито, при котором присутствовали Ранкович и Кардель - то я, между прочим, сказал, что Энгельс ошибается, внося диалектику в природу. Тито с недоверием, и одновременно провоцируя, спросил: "Готов ли ты заявить это во всеуслышание?" Я ответил с пафосом: "С удовольствием, в любое время!" До этого, конечно, не дошло, потому что вскоре, на основании доклада Карделя, меня осудили за "ревизионизм", а Тито мои взгляды оценил как появление в партии классового врага. Конфликт со Сталиным выявил возможность войн между коммунистическими странами - но не возможность изменения власти и идеологии в этих странах.

И вообще - возможно ли изменять, развивать марксизм-ленинизм, не подрывая основы вдохновленных им партии и власти?

Уже Бакунин, с интуицией анархического утописта заметил, что учение Маркса ведет к созданию чудовищной машины государственного угнетения. Оказалось, причем как раз на родине Бакунина, что эта машина, даже еще более чудовищная, чем он себе представлял, осуществима. Не случайно, для Ленина в марксизме основное - учение о власти, о "диктатуре пролетариата". Верно ли это - не имеет большого значения, во всяком случае с политической точки зрения. Важно, что Ленин извлек из марксизма именно это, и осуществил в условиях России. Марксизм, который одновременно не был бы властью, духовной основой власти, существует сегодня только в западных университетах. В коммунистических странах марксизм существует лишь в его ленинском варианте - это кодекс поведения, наркотик страха, порабощающий сознание, непременная составная часть власти.

Титоизм, титовский марксизм по своей функции ничем не отличается от марксизма, или марксизмов в остальных коммунистических странах - он освящает и обосновывает власть. Его отличие лишь в его "югославстве", в упорствовании на государственной самостоятельности и на собственных моделях. Прагматический ленинизм Тито и карделевская мешанина из социал-демократического вербализма и ленинского партийного монополизма постепенно вводятся как югославский вариант марксистского авторитаризма: своя, независимая монопольная власть нуждается и в своей собственной непогрешимой идеологии.

Таким образом, основы идеологии, а с идеологией и власти, не только не ущемляются, но "развиваются" и "обогащаются". Ни по личным, ни по иным причинам Тито никогда не был против таких теоретических рассуждений, хотя принимал их апостериори, на основании опыта. После расхождения с Советским Союзом он быстро заметил, что диктаторская власть,

особенно в небольшой малоразвитой стране, начинает стагнировать и гнить, если перестает идеологически обслуживать свою базу.

Смелый и изобретательный в практических делах, при вынесении политических решений, Тито осторожен, сверхосторожен в принятии идей, не говоря уже об их "придумывании". Ни одна из больших идей югославского коммунизма не происходила первоначально от него.

Идея самоуправления в 1959 году родилась у меня, а разработали ее Кидрич и Кардель. Сегодня сообразили, хотя я и не цепляюсь за эту славу, что самоуправление практиковалось уже во время революции! На самом же деле Тито вначале даже сопротивлялся идее самоуправления – пока до него не дошло в упрощенном, практическом виде: "Так ведь это то самое – фабрики рабочим!" Также и отход от партии большевистского, ленинского типа, что должно было выразиться в изменении названия партии ("союз коммунистов" вместо прежней "коммунистической партии") и в относительно недогматических, неленинских решениях Шестого съезда в 1952 году, не произошедшем по инициативе Тито, хотя он с ним охотно согласился; несогласие выразил только один Ранкович. Но принятие десталинизации, деленинизации не помешало Тито – как раз в связи с моим "ревизионизмом" – возродить в партии "демократический централизм" и объявить меня нарушителем решений Шестого съезда. А во время повторного "либералистского" кризиса в 1972 году, он заявил, что он сам не согласен с решениями Шестого съезда. Последовательность на практике, практическая последовательность не свойственна Тито как раз потому, что он обладал качествами подлинного политика, принадлежавшего к ленинской идеологической партийной иерархии. Идея, вернее лозунг "Братство и единство!" все же в большой мере принадлежит Тито. Но и этот лозунг не оригинален – примерно такими лозунгами уже поль-

зовались сторонники единой и неделимой Югославии при короле. И у Тито он – эмоциональное выражение партийного политического централизма. В войну, во время истреблений и кровавой вражды, когда появился этот лозунг, он воздействовал практически, "по титовски": во время войны объединение на партийной и югославской основе, а после войны – укрепление федеративного союза и партийной власти. Идея объединения неприсоединившихся стран тоже не родилась в голове у Тито – она проистекла из многих югославских и иностранных источников, причем давно, уже в начале пятидесятых годов. Но Тито увидел возможности, которые идея неприсоединенности представляет на мировой арене Югославии и лично ему и стал самым активным проповедником и организатором движения неприсоединившихся: в полном соответствии со своими качествами и амбициями. И тот факт, что Югославия вовремя не разобралась в неэффективности, в нежизненности, в разьединенности движения неприсоединившихся и не заняла вовремя свое естественное, свое политическое место в Европе – нельзя объяснить ничем иным, как мировыми, идеологическими и другими амбициями Югославии, как каждой коммунистической страны, и ее упрямого, жаждущего славы вождя.

Изречения и фразы – такие, как "Чужого не хотим – своего не отдадим!", "Работать так, как будто сто лет будет мир, готовиться так, как будто завтра война!" и тому подобные, хотя и отлиты в бронзе и высечены на мраморе – не придуманы Тито, а взяты из общепринятой пропаганды – советской и иной. Простые и не вызывающие размышлений, они врезались в его сознание, чтобы вырваться на поверхность во время конфликтов или выработки политических точек зрения.

Стиль Тито, его язык обилует шаблонами, затверженными понятиями и выражениями, взятыми из марксизма и народного языка: "вставляют палки в

наши колеса", "по одежке протягивать ножки", "историческая роль рабочего класса", "рабочий должен получить то, что принадлежит ему по праву" и тому подобное. Во время же неполитических бесед - очень редких и незначительных - для Тито характерны сдерживаемая оживленность, нешаблонный образ мышления и время от времени народные выражения.

Но хотя он не придумывал идеи, Тито был мастером их использования, усваивания и приспособливания. Он, так сказать, спонтанно, умел дозировать идеологический тезис, брать его в количестве, необходимом для разъяснения определенного решения или призыва к действию. Когда ему было нужно, он замалчивал или опускал тот или иной основной идеологический тезис - чтобы впоследствии, когда потребуется, снова его оживить и утвердить: использование идей, людей и учреждений - неперенные составные части политики и политической ловкости.

И не только это! Тито даже "малые" идеи - проекты или мысли, высказывавшиеся в ЦК или правительстве, забирал себе для какой-нибудь предстоящей речи или интервью. Авторы этих замыслов со временем начали считать такое положение "естественным", понимая роль, которую они ему предоставили и которую он себе присвоил: у кого вся власть, у того и все идеи.

## 6. В СОЗНАНИИ ВОЖДЯ, В ОСОБЕННОСТИ АВТОКРАТИЧЕСКОГО, СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО ВЛАСТЬ, ДВИЖЕНИЕ И НАРОД

В течение семнадцатилетней совместной работы с Тито у меня иногда мелькала мысль, что для него коммунистическая партия, и даже коммунизм и народ, в конце концов только средства для осуществления своего "Я". Что это дело захватило его всего, и он убежден лишь в одном: что оно, это дело, будет иным, более жизненным, чем тот порядок, который он застал. В этом он напоминал мне художника, хотя у него не было склонности ни к одному искусству, а художников он признавал и награждал часто и охотно, если они укрепляли строй и его авторитет - и редко и неохотно по должности главы государства... Если философия или религия составляют духовный стержень политики, то искусство ей ближе всего по всеохватывающему творческому импульсу, порабощающему и подчиняющему себе личность политика. Я запомнил, как Тито сказал иностранным журналистам, по поводу моей смены, что политическая смерть - самая страшная смерть. Разве это не подтверждение его точки зрения на политику как на призвание, более важное, чем жизнь и смерть? Разве не доказывает то же самое и моя "злопамятность", то, что я до сих пор помню это его заявление?

Хотя после расхождения с Тито, мое мнение о нем не претерпело значительных изменений, сегодня я дополнил бы его рассуждениями о прошлом и познаниями о политике, размышлениями о самом себе.

Коммунизм, партия, рабочий класс, трудовой народ в сознании Тито не идентичны между собой, однако они неотделимы один от другого. Разумеется и он утверждал, что все, что делается - делается для народа. Он в это и верил до какой-то степени, в зависимости от возможностей и задач. И в то, что все, что делается ("на данном этапе") делается для коммунизма.

А партия, каково отношение Тито к ней, поскольку известно - из теории, - что она авангард, "самая сознательная сила" при построении социализма и коммунизма?

Тито на основании ленинской теории ясно понимал, что партия только средство - средство главное и обязательное, но все же "только" средство - в борьбе за "диктатуру пролетариата" и "построение бесклассового общества". "Диктатуру пролетариата" он понимал - с полным основанием, поскольку и эта власть может быть создана и удержана только иерархическим путем - как свою личную власть... Поэтому он партию считал, объективно - ведущей силой, а субъективно - своей собственной, инструментом для осуществления своих планов и роста своей роли... Когда я, во время кризиса вокруг Триеста осенью 1953 года был у него в Белом дворце на Дединье, чтобы узнать его мнение о моих писаниях, уже критических по отношению к ленинской теории и "остаткам" ленинизма в Югославии, он сказал мне, явно колеблясь:

"Ладно. Ты пишешь хорошо. Тебе надо было бы больше писать против буржуазии - она еще сильна, особенно в сознании. И о молодежи - молодежь, это самое важное. У нас обстановка для демократии еще не созрела - еще должна быть диктатура..."

Я же тогда считал, что буржуазия в Югославии, в большей части Югославии вообще еще не успела сформироваться в доминирующую и независимую силу, что она бесповоротно вытеснена с политической сце-

ны: писать о ней в то время, как в стране существуют и все усиливаются ленинско-сталинские течения и формы - все равно, что стрелять по разбитому противнику, который не сможет уже оправиться, почти что стрелять в пустоту.

Я обратил внимание, что Тито все еще не преодолел, а может быть и не способен преодолеть то, что уже преодолено, что уже ушло в прошлое. Как видно, я в то время уже стал - сам того еще вовсе не сознавая - на свой собственный путь, на путь, который увел меня от него бесповоротно. Но больше всего меня поразило то, что желание Тито сохранить у нас диктатуру не относится лишь к сохранению строя - я и сам тогда не был склонен отказываться от "завоеваний революции", - а прежде всего к его личной, неизменной (впрочем, никем и не оспариваемой) роли в этом строе.

Тито явно понимал, что во время конфликта с Советским Союзом у нас произошли кое-какие изменения - не только в положении страны и в строе, но и в сознании коммунистов. Это видно из его речей того времени, в особенности же из выступления на Шестом партийном съезде 1952 года. Однако дальнейшее увеличение свобод, в особенности в идейной области, он ощущал как шаг в неизвестное, даже как опасность. Может быть не только для строя - и может быть даже не столько для строя! - сколько для своего личного положения и для своей "исторической роли". И он догадывался, он знал, что в этом вопросе - в обуздании "ревизионистских", демократических идей и тенденций - он будет иметь поддержку "догматических", придерживающихся и любящих власть кадров; поддержку ревностную и безоговорочную, поскольку эти кадры с полным основанием связали свою судьбу с ним и с его авторитарным положением. В то же самое время Тито понимал, что невозможно уже вернуться к тому образу правления, какой был до конфликта с Советским Союзом, когда ЦК

ни формально, ни практически не функционировал – разве только как личный аппарат Тито. Надо было сохранить новые, возрожденные и реконструированные формы и установки. Но они теперь не должны были только называться "титовскими" – роль Тито должна была быть усилена, стать более ощутимой. Если бы не было конфликта с Советским Союзом, в котором решающую роль с югославской стороны играли еще живой военный и революционный патриотизм, самостоятельно созданная власть, а также решимость Тито сохранить "свое" государство и свою независимую роль в нем – порядок в Югославии был бы не лучше, а может быть и хуже, чем в Болгарии или Румынии.

Тито уже со времен войны располагал, через посредство людей, преданных ему лично, рычагами власти, независимыми или полузависимыми от партии – гвардией, тайной полицией, армией. Это произошло обычным путем – упрощенной, "необходимой" идентификацией Тито с ЦК и партией. Однако только партия могла придать вид законности его действиям. Так это обстоит во всех коммунистических странах – и Сталин не мог освободиться от этого, даже тогда, когда он расстрелял большинство членов Центрального комитета, выбранного в 1934 году на Семнадцатом съезде. Об этой легитимности, об этом средстве Тито никогда не забывал, хотя после войны он больше внимания уделял не партии, а полиции и армии. Но после ссоры с Советским Союзом он снова обращается к партии с новым жаром и усиленной верой: во вне партии власть Тито никогда, даже до ссоры с Советским Союзом, не была абсолютно личной, она всегда была – иногда больше, иногда меньше – также и партийной.

Для Тито партия не только орудие революции и стройки. Как и для всех коммунистических вождей, партия для Тито была еще и чем-то другим. Впрочем,

для него она имела большее значение, чем для большинства коммунистических вождей: в ней он видел эмоциональную и интеллектуальную опору, свою судьбу, цель своей жизни.

В полуофициальных историях – в Югославии все изображают неофициальным, но на все требуется одобрение свыше, – во всех бесконечных публикациях о Тито и о партии, Тито изображают не только как деятеля, консолидировавшего партию, но почти что как ее основателя, как ее творца! Без сомнения, роль Тито велика, если консолидацию связывать с отдельными лицами, а не с широким кругом революционеров и большим революционным движением, во главе которого Тито был поставлен в 1937 году. Однако его творческая роль в ней весьма скромная – если под творчеством не подразумевать руководство сверху. Будучи секретарем партии, Тито перед войной большую часть времени находился за границей и почти не посещал высшие национальные форумы. Например, он не присутствовал ни разу ни на одном заседании Краевого комитета Сербии, хотя в Белграде бывал много раз.

Бесспорно однако, что Тито внушал членам партии твердость и активность фанатически, почти мистически сливал свою личность, свои заботы, намерения и действия с партией, – как с партией конкретной, с живыми соратниками и с конкретными проблемами, так и с партией абстрактной, партией-идеей. Коммунистическое движение прагматически-утопично: верность его утопической цели доказывается "научно" и подкрепляется ежедневной практической деятельностью. Активность и предприимчивость Тито соответствовала цели, уже видимой среди распада старого порядка, и достижимой в революционном кипении. К тому же он излучал сияние доверенного лица Коминтерна – всемирного революционного демиурга, а тем самым и Сталина, этого воплощения марксистско-ленинской премудрости. Коммунисты видели в нем

настоящего своего человека – несмотря на то, что его личная жизнь и интеллектуальный уровень не во всем соответствовали пуританским стандартам партийных литераторов. Мимо этих слабостей проходили молча или с беззлобными замечаниями, делая уступки во имя "высших целей" и ради самой высокой, самой мощной функции.

И если бы Тито можно было свести к одному-единственному качеству, то это качество было бы – партией, партийностью. Причем, не партия как целое, и не партийность, понятая упрощенно как преданность и дисциплинированность.

Тито в первую очередь – представитель и вождь среднего партийного слоя, хотя и не только это. В предреволюционный период этот слой состоит из недоучек-интеллектуалов или интеллектуалов, которые оставили свою профессию, из рабочих, как правило хороших, но недовольных своим положением, разных восторженных фанатиков, а иногда и карьеристов. С приходом партии к власти в этот слой хлынули – из всех социальных слоев – личности, жаждущие политических успехов и личных привилегий. Социальный состав этого слоя меняется, но не меняется его социальная функция. В дореволюционный период и революционный период он несет главную партийную нагрузку и ведет партийную борьбу, из него выходят партработники и руководители. И герои: коммунисты являются социально-идеологической группой, которая гибнет за свой статус. После прихода к власти, из этого слоя начинается привлечение политических профессионалов – партийных, государственных и иных.

И Тито и этот слой охотно принимают в партию интеллектуалов – пока те самоотверженно отдают себя без остатка "борьбе за идеалы рабочего класса", то есть, пока они подчиняются упомянутому среднему слою и растворяются в нем, пока не начинают "мудрствовать". Поэтому этот слой относится к интеллектуалам также и с подозрением, причем с боль-

шим подозрением к тем, которые думают ("выдумывают"), и меньшим – к ученым-специалистам. Без интеллектуалов – даже и без "мудрствующих" и без "литераторов" – не обойдешься, однако известная осторожность по отношению к ним необходима. Осторожность эта исходит из самой идеологии. Ведь идеология эта – неизменна и окончательна, а из этого следует, что не должна меняться и власть.

Тито, как и другие партийные профессионалы, тоже не без подозрительности относился и к партийным и к беспартийным интеллектуалам. Однако он смотрел шире, вел себя с интеллектуалами более гибко, чем другие партийные руководители, даже более широко, чем партийные деятели-интеллектуалы. Они к слиянию с рабочим классом – на самом же деле с "миссией рабочего класса" – шли путем самоотречения или даже самоуничужения и самобичевания. Разве не партийные интеллектуалы после войны чаще всего вписывали в свои "кадровые анкеты" фразы о своем "мелкобуржуазном происхождении" и о том, что они страдают от "ощущения неполноценности"?..

Возможно, что широта и гибкость Тито во взаимоотношениях с интеллектуалами коренится в его болезненном отношении к своей собственной необразованности. Однако большое значение имели тут и политические причины. Современные общества и даже сама партия не могут ни только развиваться, но даже просто существовать без интеллектуалов: кто будет писать пропагандные статьи, кто руководить наукой, культурой и просвещением, строить города? Кто, наконец, – вернее, в первую очередь – будет воздвигать памятники и возвеличивать революционных вождей и революцию? Одним словом: Тито обладал политическим умом. Для своего движения и своего строя – необыкновенным политическим умом, чего ни в коем случае нельзя сказать о многочисленных партийных профессионалах.

Средние кадры как в партийных комитетах, так и в администрации, составляют скелет и нервную систему власти. О чем бы Тито ни говорил, за что бы ни брался — он всегда думал именно об этих средних кадрах. И не только о них, а и об остальных, "титовских", высших партийных работниках.

Уже в самом начале, в 1949–1950 годах стали очевидны катастрофические последствия коллективизации (объединение в так называемые "рабочие задруги", югославский тип колхозов). Правда, в Югославии не дошло до выселения "кулаков" и до массового вымирания от голода. Ведь в Югославии нет ни Соловков, ни Воркуты, ни Колымы, а к тому же уже начали влиять более разумные недогматические взгляды, и начала поступать из США помощь в виде продуктов питания. Однако тюрьмы были переполнены, а спонтанное сопротивление крестьянства из года в год росло, доходя до самоуничтожения и приобретая формы национальной катастрофы.

Кардель и я в 1952 году предложили допустить свободный выход из рабочих задруг — фактически это означало бы их роспуск. Положение стало абсурдным: мы получали помощь от США, в меньшем объеме от Англии и Франции, хотя Югославия могла бы самостоятельно обеспечивать себя питанием. Больше того, при разумной, неидеологизированной политике сельскохозяйственные товары могли бы стать значительной отраслью экспорта, что помогло бы уменьшить внешнеторговый дисбаланс.

Но Тито не согласился: "Мы только что начали, не можем же мы отказываться от социализма в деревне!" Его поддержали партийные "специалисты" по сельскому хозяйству (Стамболич: "Просто сердце разрывается при мысли, что можно разбазарить такие огромные богатства!") И весь вопрос был отложен на год — пока развал и сопротивление не приняли такие формы, что уже никто ничего не мог ни исправить, ни удушить. На собрании у Карделя, где на-

до было сформулировать решение о свободном выходе из колхозов (об этом уже пошли слухи, да и печать делала кое-какие намеки), встала проблема: что делать с многочисленными и уже высказывающими недовольство партийными кадрами, которые в колхозах и вокруг них уже заняли руководящие и хорошо оплачиваемые должности — как бригадиры и всякого рода партработники? И решение было найдено: максимальный размер единоличного участка был определен не в тридцать, как планировалось, а в десять гектар. А на "излишках" земли были созданы государственные коллективные хозяйства, в которых и получили соответствующие места упомянутые выше партийные кадры. Это решение приобрело силу закона, который действует и сегодня. Вносятся "смелые" предложения: увеличить в горных областях личные участки до двадцати гектар, .. а Югославия все продолжает ввозить сельскохозяйственные продукты!

Ориентация Тито на средние кадры, слайка средних кадров с Тито со временем все увеличивалась, приобретала спонтанные органические формы. Массовые трогательные встречи, даже во время проездов Тито в охотничьи угодья, — результат не только организационных усилий и давления, но и воодушевления местного партаппарата, которое без труда передается "единодушным" и аполитизированным народным массам.

Так было не всегда. В первые годы после войны Тито и партийные верхи были более сплочены и были ближе к народу, к своим массам. Тогда военная титовская "забота о кадрах" продолжалась и проявлялась именно на верхах, по отношению к наивысшим деятелям. Тито не только не противился размещению партийных руководителей в брошенных и национализированных особняках, но поощрял это. Он проверял, хорошо ли снабжены закрытые распределители. Помню, как зимой 1945–1946 года нас растрогало его распоряжение выдать по пять тонн угля партработникам

высшего союзного значения: ставки были действительно низкие, хотя мы и получали все почти что бесплатно – кроме угля, который был дорог. Отношения были еще идиллическими и простыми: никому даже и в голову не пришло, что приличней и справедливей было бы отрегулировать законным путем вообще все снабжение, в том числе и угольное.

Но в ходе централизации, когда политические решения стали приниматься все более закрыто, и все более изолированной становилась политическая жизнь, концентрировавшаяся вокруг Тито и верхушки, средние кадры начали терять инициативу, накопленную в революции, и стали превращаться в политический аппарат центра. Правда, политика находит себе лазейки и при авторитарных режимах. В самом центре, на самом вершине около Тито по временам возникали разногласия и конфликты. Сначала вокруг ссоры с Советским Союзом, затем вокруг демократизации (мое дело) и наконец вокруг "наследства" (дело Ранковича). Тито понял – думаю, более четко в связи с моим делом, чем в связи с конфликтом с СССР – что опасности для него и для "его" системы возникают на верхах, и что в базу – в народ и в средние партийные кадры – они проникают только в том случае, когда наверху нет сплоченности. В недемократических однопартийных системах и не может быть по-другому – точно так же, как при феодальных дворах. Это получило наиболее яркое подтверждение в массовом движении, возникшем в связи с национальным конфликтом среди коммунистов Хорватии.

Непоколебимо и неразрывно связанный с партией, в особенности же с теми течениями и кадрами, которые с помощью идеологии и власти стремятся к своему идеалу и привилегиям, – Тито не забывали о своих отношениях с народом. В отличие от большинства коммунистических вождей, а в особенности Сталина, который своей недоступностью в Кремле подчеркивал таинственность своей премудрости и всемогущества,

Тито часто митингует, посещает стройки и наслаждается восторженными массовыми встречами. Крики и аплодисменты, усыпанные цветами улицы, запруженные толпами площади его очаровывают, но не надолго. На все это он смотрит рационально, с точки зрения пользы: оценивает симпатии, подчеркивает искренность восторгов и торжественность встречи.

Именно потому, что он отождествляет партию с самим собой, он хочет стоять и над ней – чтобы обеспечить продолжительность этого торжества: партия должна следовать за тем, кто преданно ведет ее по "историческому" пути. В особенности, если путь этот ведет в "счастливое завтра", к преобразению жизни народа. Здесь, конечно, возможны и ошибки и уклоны – в первую очередь некоторых руководящих товарищей. Тито видит себя и вождем, учителем народа – и ведет себя соответственно. Харизматичность – составная часть сознания и склада ума Тито.

Поэтому он культивирует и особые, личные отношения с народом – так же, как и с армией. Но во время войны, когда он останавливался в селах вместе с партизанскими отрядами, он вживался в несчастья и страдания крестьян, его потрясали поражения и воодушевляли победы. В 1944 году в Дрваре\* он много размышлял о будущем производстве гвоздей, так как гвозди – при восстановлении сожженных домов – самое важное. А в 1946 году, во время длительной засухи, он по вечерам выходил из своей виллы на Дединье, чтобы лично осмотреть небо: ведь метеорологи, бывает, и ошибаются...

Со временем, по мере того, как усложнялись и менялись дела, меняется у Тито и восприятие народа, и отношение к нему. Проблемы становились общегосударственными, а некоторые и мировыми, слава и сила ослепляли и Тито, и партию, и народ. Сжившаяся с привилегиями, утвердившаяся у власти как привилегия всех привилегий, партия, по понятным причи-

нам, возвышает над собой Тито. А народ? Народ бедствует и изворачивается так же, как бедствовал и изворачивался всегда. Связи вождя и народа становятся все более бессодержательными, все более абстрактными, все более восторженными, пустыми и пестрыми.

Конкретной, крепкой и не сентиментальной остается связь Тито с партией – Тито со средними кадрами. В этой связи – залог успеха, силы и долговременности.

При всех кризисах Тито обращался к средним партийным кадрам и находил в них самую верную, самую надежную опору. Он всегда ощущал и знал, что эти кадры – больше, чем аппарат, партийный и государственный, что это новый слой, новая сила, "призванная историей", чтобы руководить и перестраивать. А также находить и присваивать себе блага и привилегии. Тито никогда не препятствовал роскоши и расточительству партийных руководителей и не осуждал их за это – кроме как в особых, скандальных, противозаконных или вредящих политике случаях. Но не только потому, что сам был повинен в подобных "грехах", и не для того, чтобы кого-то подкупать таким образом, а главным образом потому, что считал это определенным видом естественного права, завоеванного парторботниками.

Новые победоносные силы присваивают себе и господство – перекраивают законы, вводят свою мораль и свои обычаи. Так было, так должно быть и теперь – если мы не хотим поставить под угрозу власть, господство и "все то, за что мы боролись"...

## 7. "ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРОЙ СЛУЖИТ"

*СТАЛИН*

В утверждении, что коммунистическому диктатору безразлично, какой страной управлять, есть доля правды – однако в нем не меньшая доля антикоммунистического догматизма.

Поскольку коммунизм, вне зависимости от национальной базы, основывается на власти – власти особой, которая "строит новое общество" – каждый подлинный коммунистический вождь будет в своей деятельности стремиться именно к такой власти. При рассуждениях о коммунизме и о коммунистических вождях сегодня это – общее место. В жизни же, в национальной реальности – каждый коммунизм чем-то отличается от другого. Так же и коммунистический вождь, в особенности диктатор, рождается и формируется в суровой национальной борьбе.

Коммунистическая идеология и коммунистическая власть – если судить отвлеченно – действительно таковы, что любому коммунистическому автократу должно было бы быть безразлично, где управлять. Но отвлеченной идеологии в чистом виде, которую во всех деталях можно было бы применить ко всем странам и при всех ситуациях, – такой идеологии не существует. Как только начинается "применение на практи-

ке" - то или иное положение теряет, или наоборот, приобретает в весе. Так и власть - универсальная цель и универсальное качество коммунизма и коммунистов - на практике в разных странах выглядит по-разному. И не только выглядит - она и на самом деле повсюду разная, вопреки своей монопольности и своей "конструктивной" роли. И вожди, диктаторы - конкретные люди. Авторханов остроумно замечает, что напрасно из Брежнева пытаются сделать диктатора, раз он сам не был способен сделать себя таковым.

И фашистские, и коммунистические диктаторы - вожди движения, идеологического массового движения. Но из этого не следует, что фашизм и коммунизм и их вождей можно сравнивать. Сходства здесь внешние и формальные, поскольку у этих движений разные социальные корни и устремления, поскольку они защищают или "отстраивают" разные системы.

По внешнему декоруму и многим другим признакам коммунистические и фашистские вожди похожи друг на друга. Их души и разум, вероятно, обуревают одинаковое непреодолимое стремление лично выделиться, добиться личной власти. Но инструменты и способы осуществления этого стремления - различны. Коммунистические движения и коммунистические вожди вырастают на развалинах старых формаций и вечных мечтах человечества - их сила еще растет, их формы обновляются и крепнут. С коммунизмом в мир пришли новые формы и новые империи, коммунизм оставит глубокие следы и переживет некоторые коммунистические государства - даже Советский Союз.

Совсем другое - фашизм. Не входя здесь в различия между итальянским фашизмом и немецким нацизмом, скажем, что всем фашизмам присущи изменения политических взаимоотношений, с одновременным сохранением отношений социальных. Для фашизма характерны кошмар и неистовство, для коммунизма - при-

нуждение и запрещение. Первый краткосрочен, второй - продолжителен.

После гибели больших фашистских государств, Италии и Германии, фашистские диктаторы исчезли или дегенерировали. Нынешние диктаторы в Латинской Америке, Африке и других местах - всего лишь возглавители подкупленного военно-полицейского аппарата. Они напрасно селятся "отстроить" идеологию и массовое движение, чтобы сохранить политические и экономические привилегии и устаревшую структуру общества.

У фашистского вождя идеология и цели - национальные: даже у Гитлера, в его будущем "арийском" мире основой должен был стать немецкий народ. Фашистские вожди мечтают о завоеваниях, их планируют и осуществляют. Смысл существования фашизма - в завоеваниях. Фашистский вождь стремится поработить других, но "естественной" считает только власть над своим собственным народом, поскольку он "тотальный" носитель его "воли" и "судьбы".

Коммунистические вожди все-таки иные: любой из них согласился бы управлять другой страной - это, конечно, не значит, что он смог, сумел бы ею управлять. Идеологические требования, интернациональное сознание, тотальность и "совершенство" форм которых трансформируется в личные амбиции, приводят к тому, что каждый коммунистический вождь не только согласился бы управлять любой страной, он стремился бы и к расширению своего влияния на весь мир.

Однако желание, согласие - это еще не возможность и не способность, и даже не вера в способность и возможность. Каждый коммунизм, как только он становится более или менее независимым от советской империи, начинает считать себя "самым совершенным", но одновременно соразмеряется со своими национальными возможностями. Коммунизм - это международное сознание на национальной почве, а коммунистический вождь - национальный владыка на

международной сцене. Нет сомнения, что нападки Советского Союза на Югославию в 1948 году стимулировали усиление югославских, титовских претензий на Балканах и в странах "народных демократий". И в Югославии не случайно именно после возникновения этого конфликта произошел поворот к национальным реальностям и возможностям. И не случайно Тито вскоре после возникновения конфликта с горечью и грустью сказал своим ближайшим товарищам: "Главное в том, что мы - малоразвитая страна! И пока это будет продолжаться..." Позже, когда самостоятельность окрепла, Югославия, вернее Тито, с помощью движения неприсоединившихся стран вышел на большую международную арену - уже вне коммунистического движения - и стал еще более неприятен для советской великодержавной экспансии.

Тито в Югославии наполовину иностранец. Но не только потому, что он был на австро-венгерской стороне во время войны, из которой возникла Югославия, и не потому, что он пробыл около семи лет в Советском Союзе, причем в судьбоносные моменты в жизни этой страны и своего собственного формирования - в разгаре революции, в разгаре чисток, в молодости и в зрелом возрасте. Он наполовину иностранец по происхождению и по направленности жизни - и в самой Хорватии. Загорье, загорцы и по самосознанию и по истории - весьма хорватская Хорватия. Но по языку и по психологии - это особый мир и особый народ. И язык у них особый, со своими литературными традициями - "кайкавский" островок посреди "штокавского" языкового моря. Люди трудолюбивые, занимающиеся отхожим промыслом, склонные к добродушным забавам, любящие вино и песни. Не столь важно, что сербские националисты откроют в Тито губителя сербских идей в духе австро-венгерских традиций, а хорватские националисты - выродка, который "продался сербам". Существенно то, что он, несмотря на свою принадлежность к малой и изоли-

рованной этническо-культурной базе, смог завладеть целой Югославией - многонациональной страной, в которой два самых больших народа, сербы и хорваты, почти отождествляют свою национальную сущность с государственностью.

Объяснить это нетрудно и об этом кое-что уже сказано в этой работе: общегославская, единая общегославская компартия, сохранение общего государства - как внутреннее содержание и цель революции, оборона и укрепление Югославии как независимой страны.

А какова во всем этом роль Тито и насколько она значительна? И об этом здесь кое-что уже сказано, чтобы указать на взаимоотношение - пусть несоизмеримое - между его личной ролью и революционным движением, вернее, объективным ходом истории.

Роль Тито, как и роль любого политика, измеряется вкладом в конкретную реальность - способностью видеть социальные и политические проблемы и разрешать их. Причем - хотя этот вопрос оставим пока в стороне - методы, которыми эти проблемы разрешаются, вероятнее всего важнее, чем конечный результат, достигнутый их разрешением: результаты революций, в особенности "идеологических" революций двадцатого века, несколько не оправдывают ни надежд, возлагаемых на них, ни горячности, с которой они проводятся.

С момента, когда он принял руководство партией, впрочем, еще и раньше, Тито весь погрузился в конкретную жизнь Югославии, в югославскую реальность - которую он, естественно, воспринимал под партийным углом зрения и через партийную деятельность. Политические события - фашистские нашествия, война и капитуляция руководящих партий, рост мощи и роли Советского Союза, революционные условия во время оккупации - подтверждали оценки коммунистической партии, предоставляли ей возможности эти оценки осуществить, конкретизировать в виде организации и действий.

Но необходимо и неизбежно было делать это непрерывно, изо дня в день, изменяя, приспособлявая формы в нужный для этого момент. Изю всех югославских революционных вождей Тито, без сомнения, проявил в этом деле наибольшую изобретательность и предприимчивость. Он наиболее живо и непосредственно ощущал конкретное и возможное и вникал в них. Он отнюдь не был непогрешим - политическая реальность сама по себе "перевертень", трудно дающийся в руки. Да и могла ли она быть иной, при всех сопутствующих ей разнообразных и коварных силах и возможностях? Но Тито быстро, ловко преодолевал все промахи и блуждания, нащупывая и ловя возможное и конкретное. При всем этом он открыто не признавал ошибок - во всяком случае, если признавал их, то неполностью и уж, конечно, не в форме покаяния. Не признавал даже очевидных и крупных ошибок. В ошибках он, в основном, признавался самому себе - и молча, безо всяких угрызений и сомнений их исправлял. В 1951 или 1952 году я, как бы походя, предложил отменить комиссаров в армии. По привычке или по врожденному свойству считать чужим и враждебным все - даже иронию, - что может повредить его авторитету и его точке зрения, он накинулся на меня: "Еще чего не хватало! Ей Богу, ты бы всю армию развалил!"

Комиссаров отменили через месяц или два. А когда он сообщал об этом на заседании Политбюро, то как бы невзначай глянул на меня и прибавил: "В общем, всегда лучше выслушать несколько мнений..."

Тито никогда до конца - а с ростом его личной власти все меньше - не был способен или не хотел определить свою долю в неудачах и заблуждениях: только чужая реальность и чужие ошибки были ему понятны и только в них он вникал. Поэтому он легко, и иногда ненамеренно, перекладывал свою вину на других или вел себя так, как будто не располагал абсолютной властью: "я говорил, я указывал, меня

не послушали, я не знал, меня обманули," - в таких выражениях он чаще всего возмущался по поводу крупных упущений или ошибок.

В разгаре идолопоклонства и блеска абсолютной власти у Тито - я это уже отмечал, в особенности перед расхождением с ним - ослабевала и гасла и такая, посредственная способность к самокритике. Я считаю, что ослабевало - хотя и не такими темпами, как самокритичность - и ощущение конкретного и возможного: разве Югославия дошла бы до такого экономического тупика, до такой "неприсоединенности", до такой неэффективности аппарата? Совершенный мир, мир без критики и без альтернатив - это мир безмерных, непоправимых ошибок...

Югославия, Коммунистическая партия Югославии и ее деятельность - это была самая непосредственная, ежедневная и одновременно историческая реальность Тито. Но Югославия, хотя и была его миром, не была и не могла быть изолированным миром. Он это осознавал и всегда пытался перейти за югославские границы, навязать миру югославскую реальность и югославские проблемы. Крепко и непоколебимо держась за Югославию, он одновременно осознавал ее маломощность и стесненность. Обратная сторона этого сознания выражалась у него в хвастовстве: он хвастал достижениями, достигнутым авторитетом и силой - силой прежде всего. "Сила", "сильный" и схожие слова у Тито, вероятно, встречаются чаще, чем любые другие. Для политика конкретными и возможными являются основа и цель, орудие действия и оправдание действия. Но политик по призванию, - а Тито без сомнения таковым является, вне зависимости от того, какого мы мнения о его методах и достижениях, - никогда не удовлетворен конкретным, достигнутым. Он и не может быть им удовлетворен, потому что реальность изменчива, зла и опасна. Не был удовлетворен и Тито: его активность, его самостоятельность не знали ни самоуспокоения,

ни границ. В начале пятидесятых годов Югославия – вследствие советской блокады, отсталости, а также заимствованного и своего собственного догматизма – была вынуждена принимать помощь от Запада и в первую очередь от США, а вследствие этого смягчать, если и не приспособливать, свои внешнеполитические установки. Тито тогда в узком кругу говорил с огорчением и тоскою: "Без самостоятельной внешней политики нет и самостоятельности!"

Больше всего его угнетала экономическая помощь. Он считал, что помощь вооружением не так обязывает и меньше унижает, поскольку Югославия своим географическим положением и боевой готовностью обороняет не только себя. Поэтому он – более настойчиво в 1953 году, после смерти Сталина – требовал от членов ЦК, руководивших народным хозяйством: Югославия должна избавиться от западной помощи. Наибольшая часть помощи состояла из продуктов питания и освободиться от нее было бы весьма важно. Однако при политике коллективизации и принудительных закупок осуществить это было невозможно.

Но насколько бы ни были конкретны и осязаемы практические цели политической деятельности, сведение политического искусства только к ним может дезориентировать и привести к провалам. Для политической практики необходима политическая теория: без теории политика близорука, узка и лишена вдохновения. В этом недостатки и политики Тито. Он придерживался – временами четко, временами непоследовательно – изжившей себя ленинской теории и карделевской прагматической смеси ленинизма с социал-демократизмом. Самые большие и непоправимые ошибки были совершены после появления демократических течений в партии и примирения с советским руководством. Не разбираясь в теории, но понимая, что она необходима – Тито так и придерживался этой удобной теории Карделя, поскольку сотрудничество и с

Востоком и с Западом укрепляло югославскую независимость и одновременно личную роль Тито.

Когда осенью 1953 года США и Британия решили передать итальянцам "Зону А" (Триест с окрестностями), в Югославии вспыхнули демонстрации, а Тито заявил, что югославская армия войдет в "Зону А". Но хотя Тито и выражал всеобщее раздражение, мне кажется, что в своих решениях он сознательно хотел продемонстрировать свою независимость от Запада: в это время в СССР как раз намечались после- сталинские перемены.

В эти дни, как я уже упоминал, я был у него, чтобы выслушать его мнение о моих писаниях. Он отдавал по телефону распоряжения, думаю, что генералу Косте Надю, уточняя, чтобы тот использовал танки не американского производства, так как это неудобно, а советского.

Я спросил его: "Как же мы будем стрелять в итальянцев, если их поддерживают американцы и англичане? Что, мы и в них будем стрелять?" Он ответил: "Мы войдем, если войдут итальянцы, – а потом посмотрим..."

Вскоре на заседании секретарей ЦК у Тито, он, ощущая, что предпринятые меры неадекватны, слишком резко, разъяснял: "Если мы будем вести себя нерешительно – они потребуют и "Зону Б". Я этого боюсь!"

Думаю, что подобной опасности не существовало: США и Британия просто хотели отделаться от второстепенной нагрузки, которая к тому же отравляла югославо-итальянские отношения и мешала более широкой консолидации. США и Британия вскоре отказались от своего решения, шум утих, а уже в следующем, 1954 году в Лондоне было достигнуто соглашение, по которому "Зона А" отошла Италии, а "Зона Б" – Югославии. То есть произошло именно то, чего хотели добиться США и Британия своим односторонним решением за год до этого. Во время этих событий

Тито принимал решения под влиянием эмоциональных факторов, может быть в первую очередь под их влиянием. В политике эти факторы – реальность, и еще какая! Однако влияли тут и идеологические предрасудки: как вера в переменчивость постсталинского "социализма" в СССР, так и вера в неизменяемость "капиталистического", итальянского, империализма. Однако в другом случае – снова в связи с Триестом, но когда титовские "конкретно" и "возможно" не были отягощены теоретическим наследством и теоретическими предвидениями – Тито дал правильную оценку. "Не можем мы получить Триест!" – сказал он мне, думаю, в 1951 году, подметив, что и я в этом не уверен – причем как раз во время разгара одной из многочисленных кампаний вокруг Триеста.

При оценке дел и личностей политиков чаще и легче всего обманывают их высказывания! И не только потому, что политики – это племя, склонное посредством слов скрывать свои намерения и действия, – если бы они были иными, они не были бы настоящими политиками! Нет, сама политика вообще, даже при полной, самой искренней искренности содержит в себе умалчивание, преувеличение, недооценку, недоговоренность, болтливость – самые разнообразные, немислимые и непридвидимые искажения правды. Потому что жизнь, а в особенности жизнь, сконцентрированная на политике, изменчива, многогранна и многостороння, потому что человек, в особенности же политик, чтобы удержаться и преуспеть, должен каждый раз наново угадывать единственный правильный путь и эффективный метод.

Поэтому более верный способ оценивать политиков не по тому, что они говорят, а по тому, *как* они это говорят. Потому что личность – ее возможности и стремления – раскрывается в методе. А "смысл", "содержание" во многом неоригинальны, и, кроме того, маскируют и создают неверное представление и о личности, и о ее подлинных намерениях.

Метод Тито отличался ясностью и простотой. Ясность и простота без пестроты, без ораторского мастерства. Однако – ясность и простота и тогда, когда он что-то таил в себе, и когда пребывал в нерешительности. Все – в особенности же средние партийные кадры – быстро соображали, чего он хочет, а чего не хочет, что нужно, а что не нужно. Это, помимо верного ощущения реальности, было сильной, может быть наиболее сильной стороной его духа. Практически были соединены – простота и ясность выражения и ощущение конкретного и возможного. Простота и ясность разъясняли и убеждали: то, что хочет осуществить Тито, то-есть партия, – реально и осуществимо, хотя нередко для этого нужны и усилия, и жертвы.

Каждый раз, когда мне приходилось слышать политиков (особенно сербских и хорватских партийных руководителей, расхоронившихся с партией в 1971–1972 году), запутанно, туманно и сложно выражающих свои мысли, я понимал, что это начало внутреннего надлома и поражения. Понимал, может быть отчасти, потому что я и сам дважды испытывал нечто подобное: выступая на Пленуме ЦК летом 1953 года на Брионах, когда Тито уговорил меня показать, что мы не едины; и тоже на Пленуме ЦК в январе 1954 года, когда я уже и сам – заклеянный и отстраненный от должности за "ревизионизм" – вел себя как коммунистический прагматик: частично отказывался от своих идей – потому что их значение и действие я связывал исключительно с коммунистической партией.

Конкретное и возможное, ясность и простота – для Тито в этом заключались идея и средство власти. Я бы сказал – чистой власти. Потому что Тито не столько владела, не столько притягивала, увлекала власть вообще, власть, которой подчиняется все и вся и которая во все вмешивается – сколько партия, тайная полиция, армия: отстраивание, под-

держание на уровне, удерживание в своих руках, в руках "своих" людей партии, тайной полиции, армии.

Нельзя сказать, что Тито захватывала только "чистая власть" или "чистая политика", что его внимание концентрировалось только на трех упомянутых организациях. Кроме тех случаев, "когда это было необходимо", он даже не посвящал им основную часть своего рабочего времени. Но они постоянно находились в центре его интересов, сохранение их дееспособности, их усовершенствование были предпосылкой функционирования и укрепления системы в целом и роли Тито в частности. Ни одного решения, - а он выносил решения по всем важным, или казавшимся ему важным, вопросам - Тито не выносил без того, чтобы, может быть нехотя и молча, не оценить его с точки зрения "чистой политики", то есть деятельности и усовершенствования партии, тайной полиции, армии.

И в иных - некоммунистических - политических и социальных системах, пусть самых демократических, структура государственного аппарата и способ принятия решений примерно такие же. Отличаются же эти системы, говоря упрощенно, правом выбора и правом критики политического руководства - или отсутствием или ограниченностью этих прав. "Чистая политика" Тито и те, кто ее проводили, могли меняться, сменяться или подвергаться критике только в тех случаях, когда они не выполняли указаний Тито, или отставали, или сходили с пути, который он считал верным. А то, что в Югославии, в отличие от других коммунистических стран, живется более сносно, так это благодаря разным факторам и, между прочим - как бы абсурдно это ни казалось - той же "чистой политике" Тито, тому обстоятельству, что власть Тито скорее автократична, чем тоталитарна. В его представлении все остальные отрасли - экономика, культура, спорт и другие - были по сравнению с "чистой политикой", "чистой властью" второ-

степенными. Именно поэтому они вырывались из тисков насилия и догмы и были лишь наполовину зависимы. Играли здесь также роль - абсурд, который могут породить только жизнь и политика! - безграничное стремление Тито к роскоши, его неаскетичность: это склоняло к "грехам" и других, это стирало социальные, а вместе с ними и другие различия.

Если Югославия была тесна для Тито, то и ей с ним было нелегко. Но вместо теоретических рассуждений скажем вместе со святым Августином: "лучше грешный человек, чем автомат".

## 8. ВОЖДЬ И СИСТЕМА, ХОТЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫ, НО ВЗАИМОСВЯЗАНЫ

Ни одна система не создается только по воле вождя. Даже советская система — во время самого жестокого террора и тотальной коллективизации — не соответствовала полностью сталинским замыслам и средствам. Потому что система, новая система, создается также и действием бесчисленных неуловимых новых победивших сил. Система, строй — результат взаимодействия стихийности низов и организованности верхов: политика, политическое искусство есть нахождение, создание взаимодействия между стихийностью и организованностью.

Если эту установку проиллюстрировать примерами послевоенной Югославии, то это было бы — стремление партийной массы ко всевозможным привилегиям, стихийное сопротивление "несоциалистических" слов и организованное насилие во всех областях жизни. Здесь Югославия отличалась от остальных "народных демократий" только тем, что — поскольку она уже прошла через революцию — насилие в ней было наиболее радикальным и всеохватывающим. Несмотря на то, что еще не были охвачены значительные области частной собственности — сельское хозяйство, домовладительство, даже небольшие предприятия — беззаконие и принуждение достигли таких размеров,

что Югославия по внутреннему порядку была скорее похожа — похожа, не идентична! — на Советский Союз, чем на любую из "народных демократий". На Западе ошибались, называя Югославию "сателлитом номер один", потому что она больше соглашалась с Москвой, чем ей подчинялась, она даже тайно соперничала с Москвой за ведущую роль в коммунистическом движении.

Схожесть с советской системой была заметнее всего в том, что я в прошлой главе назвал "чистой политикой" или "чистой властью", которая была и осталась для Йосипа Броз Тито самой живой отеческой заботой и самой крепкой и необходимой опорой.

Бюрократия всех видов необузданно размножалась: твердую опору и перспективы на будущее гарантировало только бюрократическое местечко. Не составляли в этом, конечно, исключения и органы насилия — особенно органы политического насилия, тайная полиция — несмотря на строгий отбор и жесткую дисциплину. В эти органы сначала отбирали самых ревностных, самых бескомпромиссных коммунистов. Потом эти органы сделались и привлекательными, самыми привлекательными для политических карьеристов и послереволюционных "революционеров". Однако для общества и для самой правящей партии наиболее разрушительным и убийственным было то, что тайная полиция распространила свой контроль на все области жизни, проникла во все поры, в семьи, в частную жизнь. Моя первая жена Митра в 1947 году по секрету мне жаловалась, что даже они, члены ЦК Сербии побаиваются: в присутствии товарища, который руководит тайной полицией, сперва обдумывают свои слова и выражения. Как же тогда это выглядело в провинции, в районных парткомах?

Контроль над партией при помощи тайной полиции — одних коммунистов при помощи других — несомненно изобретение Москвы, Ленина и Сталина. Тито и "титовцы" его оттуда и позаимствовали. Но они

бы и сами его изобрели, без содействия Москвы: партия, в особенности после победы, становится массовой, более открытой - в противном случае формирование и укрепление нового правящего слоя остановилось бы, оказалось бы в опасности. Партия, вернее партийная верхушка, должна контролировать этот процесс - чтобы самой не стать добычей и жертвой контрреволюционных и "чужих" течений. Но это влечет за собой и "нежелательные" отрицательные последствия: тайная полиция становится орудием воздействия верхушки партии на низы партии - господином над новыми господами. Роль партии слабеет, слабеет активность и инициатива низов.

После ссоры с Москвой кое-что менялось, чаще всего к лучшему. Но роль и сила вездесущей тайной полиции возросли. Вначале это было неизбежно, понятно в связи с просоветской деятельностью. Однако и после того, как конфликт после смерти Сталина заглох, роль тайной полиции не изменилась, хотя судопроизводство стало менее жестоким, несколько окрепла законность - в неполитических областях. Перемены, хотя и не коренные, и кратковременные, наступили в 1966 году, когда "революционная" полицейская система отжила, а Тито учуял, или вскрыл, "заговор" в самой тайной полиции. "Заговор", судя по всему, не был направлен непосредственно против него, но мог привести к ограничению его власти и уменьшению его роли. Большинство полицейских были отправлены на пенсию или перемещены в другие службы, тайная полиция стала считаться, во всяком случае в теории, "отраслевой службой". Вскоре и в партии обнаружилось демократические течения - в Хорватии "националистическое", в Сербии "либеральное", в Словении "технократическое". Тито приспособился к новым течениям, к переменам, но отнюдь не изменившись, оставаясь самим собой, охраняя свой престиж, роль, личную власть. Это "самый либеральный"

период правления Тито - чуть меньше единовластия, чуть меньше доктрины.

Однако за пять лет неленинистские течения настолько усилились, что поставили под удар "титовскую" систему, а тем самым и Тито. В 1971-1972 годах, опираясь на армию, Тито "вычистил" партию и снова взял в свои руки тайную полицию. Власть Тито теперь и формально стала абсолютной: пожизненный председатель партии и государства, он все реже присутствует на заседаниях форумов, а представители форумов все чаще являются к нему для докладов. Югославам, от детей до стариков, индоктринируют придуманный "титовский марксизм", в стране единственная обожаемая личность - Тито, а в остальном мире - среди "коммунистических" и "капиталистических", а в особенности среди "своих", неприсоединившихся политиков - он один из наиболее видных государственных деятелей. Система, строй значительно изменились, но Тито, его роль и способ принятия решений остались по сути прежними. Этого он не мог бы добиться, если бы система не базировалась на власти, на партии как социальном слое - на власти-партии, которая даже после того, как в значительной мере дезидеологизируется, продолжает сохранять и закреплять свои привилегии. Правильнее всего было бы сказать: и Тито менялся, менялся и метод его властвования, но, как правило, - насколько это от него зависело - изменения происходили по пути укрепления его личной власти и его места в партии и над партией.

Ошеломляет и здесь диалектичность, "абсурдность" политики: Тито смог остаться "неизменным", то есть укреплять личную "чистую" власть именно по той причине, что он не препятствовал переменам в остальных областях системы, да и в самой системе в целом. Поэтому не удивительно, что перемены в "неполитических" областях - например, в области экономики и культуры - чрезвычайно редко исходили

от Тито. Но правда и то, что - если перемена или реформа была принята, а в особенности, если она оказывалась плодотворной - Тито отстаивал ее темпераментно и настойчиво. Когда Кадрич - разумеется не он сам, а партийные хозяйственники, которыми он творчески денно и нощно руководил - повернул экономику лицом к рынку, Тито его энергично поддержал. Причем поддержку свою он выразил по-титовски, упрощенной, понятной каждому формулой: "Мерять динаром". Но Тито не соглашался, ни за что до конца не соглашался, чтобы и политическая деятельность - например, зарплаты партийных и других функционеров, трудовые молодежные мероприятия, революционные празднества и тому подобное - мерялась динаром. У "чистой политики" свои масштабы, свои мерки, не подчиняющиеся законам экономики.

Если бы Югославия после конфликта с Советским Союзом в 1948 году сохранила так называемую административную систему, продолжала бы жить по советской экономической модели, она потонула бы в хаосе нищеты и насилия, который подорвал бы и власть государственную, и власть Тито - хотя их невозможно отделить одну от другой. А вместе с этим появилась бы возможность вмешательства извне - в первую очередь советской военной интервенции, которая бы на десятилетия застопорила национальное развитие. Экономика, предприятия и руководство хозяйством, чтобы иметь возможность в какой-то мере эффективно действовать, получили автономию - однако лишь до той черты, за которой оказалась бы под угрозой власть партии. Так же и культура - все, кроме запретных тем: критика партии, революции и, конечно, Тито. Все начало обретать и иную, неидеологическую, рыночную ценность. Государственный аппарат тоже не избежал недоразумений между идеологией и рынком: "совершенное общество" будущего и идеологические привилегии обрели приют в политическом аппарате.

Антисталинизм и рынок оказались несовместимыми с бюрократической иерархией ценностей и политическим всемогуществом: из борьбы против сталинской тирании и мечтаний о подлинном, демократическом социализме родилась идея самоуправления.

Самоуправление узаконило критику бюрократизма, пресекло бюрократический произвол - на уровне предприятий - и кое-как укрепило рыночное хозяйство. Но оно не повлияло существенно ни на характер власти, ни на политическую обстановку. При монополистской партии, при вездесущей тайной полиции, при авторитарном вожде самоуправления и внутри себя не стало демократическим и действенным. Все политические кризисы в Югославии совершились вне самоуправления: мощь тайной полиции усиливалась и слабела, в партии появлялись оппозиционные течения - все это независимо от самоуправления. Более того, ни одна забастовка, буквально: ни одна, - а за последние годы их было великое множество, коротких и экономических - не была проведена органами самоуправления или профсоюзами.

Коротко: самоуправление, без сомнения, достижение в области прав производителей и организации рынка, но ни на власть, ни на политическую систему - на "чистую политику" - оно никакого влияния не имело. Более того, в течение последнего десятка лет - после "чисток" в Хорватии и Сербии, сопровождающихся всеохватывающей индоктринацией и абсолютизацией Тито - внимание партии сконцентрировалось на органах самоуправления, в которых беспартийных вскоре осталось всего около десяти процентов. Таким образом, самоуправление должно стать важнейшим участком партийной работы. Теоретическую базу под этот "демократический" тоталитаризм подвел Кардель - в особенности в своей последней работе "Направление развития политической системы социалистического самоуправления". Работа эта, кстати сказать, вызвала восхищение и некоторых социалистов на Западе.

Вследствие того, что самоуправление родилось из творческого противопоставления Сталину и советской системе – но не смогло не только преодолеть, но даже ограничить силу партийно-политического аппарата – оно стало удобным для создания новой, отличной от советской, идеологии, утопии. Реальное слилось с идейным: введено рыночное хозяйство, но неполное и непоследовательное – а разве могло быть иначе при формах собственности, поощряющих монополизм политической власти? Самоуправление вдохновлялось утопией, вернее – "социалистической теорией".

Тито никогда чрезмерно не увлекался самоуправлением. Да и не мог бы – не рискуя вызвать ропот аппарата против власти, своей власти. Но дело не только в этом. И не в том, что якобы он был против. Нет, он был за самоуправление, и в 1950 году даже обосновал закон о самоуправлении: он понял, что рынок и самоуправление оживят хозяйство, он понял также, что идеологизация и абсолютизация самоуправления увеличивает самостоятельность Югославии, подчеркивает ее особую позицию. Но дальше – ни шагу: самоуправление не смело перейти за черту, не смело поставить под угрозу систему власти, которая начала формироваться во время революции и которая соответствовала его стремлениям и его взглядам. Идеализированная реальность редко и лишь в незначительной мере мешала титовской "реальной" реальности...

Рыночное хозяйство принесло с собой и увеличение свободы передвижения, и устройства на работу, открыло границы туристам и тому подобное. Менялась и власть – закон и порядок стали обязательными и для тех, кто должен был их охранять. Изменилось даже и преследование политических противников, оно упорядочилось и стало мягче – хотя и сегодня каждый политический противник может быть, а чаще все-

го и бывает, осужден на многолетний тюремный срок за пересказ анекдотов или "враждебные" высказывания в кругу "друзей".

Механизм надзора и властвования над гражданами до нынешнего дня остался прежним, а в масштабах республиканской олигархии – даже ужесточился.

У меня осталось в памяти, что С. Сульцбергер из "Нью-Йорк таймс" в 1945 году считал, что в Югославии действует 50 000 антикоммунистических партизан. На коммунистической верхушке – сюда я причисляю и себя, себя в особенности, потому что я тогда руководил пропагандой – заявление Сульцбергера было принято как злонамеренная дезинформация. На самом же деле его оценка, вероятно, была более близка к истине, чем в тот момент наша собственная: мятежников из разбитых контрреволюционных войск было около 40 000. Среди них были и убийцы, и вожаки, но были и такие, которые – по тогдашней доктрине, по революционным и эмоциональным критериям – не заслуживали даже тюрьмы, не говоря уже о смертной казни. Большое количество, может быть большинство, этих мятежников сдалось. Но немало их осталось и по лесам. Правда, лишь немногие из них проявляли большую активность – убивали партийных и государственных активистов, грабили магазины и "задруги". Конечно, их было бы больше, если бы партия и власть так активно и умело их не преследовала, не мобилизовала бы население, не производила давление на пособников. Тех, кого брали в схватке или обнаруживали в убежище, – как правило, убивали без судебных процедур, чаще всего прямо на месте. В большинстве случаев это были озлобленные, смертельные враги новой власти. Но среди них были – как всегда и всюду при идеологических и подобных им конфликтах – и такие, которые не были склонны к преступлениям и идеологическим расправам, или которые смогли их избежать. Однако расправлялись со всеми одинаково. Сколько было таких

- это никто не может установить даже приблизительно. Более того, ведь нет и мерила вины: разве по военным, революционным понятиям не виновны те, кто помогал вожакам, кто укреплял своим присутствием мораль отрядов и увеличивал их количественно, устраивал тайные убежища, запугивал население? А у нас в Югославии - поскольку революция развивалась и как борьба против оккупантов - контрреволюционеры, как сотрудники оккупантов, в глазах коммунистов и новой власти были и изменниками народа. Широта революционной программы если не уменьшала, то и не ослабляла жестокость борьбы.

В своих воспоминаниях о войне я отметил, что в конце 1945 года Тито остановил экзекуции без суда и следствия, которые проводила тайная полиция ОЗНА. "Никто больше не должен бояться смертной казни!" - воскликнул он на встрече с членами Политбюро - явно возбужденный и знающий страшную реальность. Смертные казни после этого стали реже - Югославия одна из стран с наименьшим числом смертных казней, причем главным образом благодаря взглядам Тито и занятой им позиции.

Но индивидуальный судебный подход, как я уже сказал, не применялся - кроме, может быть, отдельных случаев - к мятежникам, продолжавшим борьбу против властей. Из-за идеологического ослепления, безумной злобы, из-за того, что на войне так проще, из-за желания окончательно и поголовно расправиться с теми, кто оказывает вооруженное сопротивление новой власти? Тут, конечно, играли роль и иные побуждения - местные взаимоотношения, личная злопамятность, даже настроение преследователей. Но главной причиной был - в этом у меня нет сомнения - революционный, неправовой, или недостаточно правовой характер власти, абсолютность власти. Тито был приверженцем юридического правопорядка, но все же не такого, который мешал бы выносить политические решения или ставил бы под вопрос решающую роль

государства! "Не может церковь быть над государством!" - подчеркивал он в узком кругу в 1946 году в связи с конфликтом с архиепископом Степинцем.

Мне случалось, чаще всего во время поездок автомобилем, слушать рассказы работников службы безопасности о расследованиях и уничтожении групп мятежников. Все они подробно и с наслаждением рассказывали о хитрости и ловкости своих товарищей и своей собственной. И нехотя и поспешно - о несдержанных обещаниях и расстрелах. И Ранкович, в кругу своих ближайших товарищей, методично и живописно рассказывал о наиболее значительных и драматических преследованиях. У меня уже тогда создалась уверенность, - не буду приводить примеров, которые это убедительно подтверждают - что методика этих расправ в первую очередь базировалась на принципе (вернее, "принципе") примата и абсолютности новой власти. Но для полноты следует добавить: это принцип не только коммунистический и не только югославский. На Балканах такая судьба всегда ожидала бунтовщиков и мятежников. Впрочем, и в других местах. В Европе не так часто потому, что там было меньше мятежников, а бунты были реже. Я, в форме рассказа, в новелле "Там, где сходятся три границы" обработал одну из этих тем. Писатели в Югославии "мятежной" тематики даже не касались, - причем не только потому, что она была "табу", а из-за отсутствия информации, из-за того, что они не имели понятия о ее значении и важности.

Этот принцип был применен и в двух следующих, довольно крупных происшествиях, которые однако не ставили под удар ни власть, ни систему.

Зимой 1949 года вспыхнул бунт мусульман-земледельцев в окрестностях Цазина. По дороге они разоружили милицейский участок и какого-то замминистра из Хорватии, который проезжал там в автомобиле. Комендант ближайшего горнизона отказался вмешиваться, ссылаясь на то, что у него нет приказа

"сверху". За это его впоследствии сменили. А десять или двадцать работников госбезопасности и членов парткома схватили оружие – был у них и ручной пулемет – и засели на холме возле города. Когда крестьяне с криком и шумом показались вдали, защитники открыли огонь – и толпа рассеялась. Во всей этой суматохе никто даже не был ранен. Большинство бунтовщиков разошлись по домам – как будто ничего и не было. Но тридцать человек, которые были виновны или считали себя виновными, ушли в лес. Через несколько дней их всех изловили и расстреляли на месте.

Белград был в курсе дела. Недели через две мне об этом чрезвычайном происшествии рассказал Кардель – после того, как поступил отчет, в котором все было весьма старательно изложено. "Типичная жакерия! \* – уверял Кардель. – Все было основано на мужицких сказках и фантазиях. Без организованности и без четкой цели..."

Воистину, так оно и было.

Тогда мы опасались – как раз Кардель обращал на это наше внимание – вспышки каких-нибудь просталинских волнений, а вспыхнул крестьянский контрреволюционный бунт... Цазинские мусульмане, Цазинский Край – мир особый: столетия в закутке между Турцией и Австрией, воинственные и фанатичные. Во время войны, после некоторых колебаний, они присоединились к партизанам – как отдельное войско. Конечно, они были возмущены принудительными закупками и коллективизацией, хотя причин для недовольства у них было не больше, чем у других. И что самое странное, что меньше всего можно было предвидеть, поскольку ни до войны, ни во время войны, благодаря своим религиозно-этническим особенностям, они не были приверженцами сербской монархии – к восстанию их побудила весть о том, что где-то невдалеке приземлился на парашюте король Петр II!

В том же году, но уже в начале зимы, одиннадцать или двенадцать просоветски настроенных крайних и городских партработников Белого Поля, во главе с секретарем обкома Ильей Булатовичем ушли в лес. Однако к ним не только никто не присоединился, но все население помогало органам безопасности их ловить. Подавленные, разбежавшиеся в разные стороны мятежники один за другим сдавались без сопротивления – но ни один не был доставлен в город живым, всех по дороге прикончили. Интересная, странная психология у народа: когда работники госбезопасности объясняли крестьянам, как надо прочесывать горы, чтобы мятежники не ушли в Албанию или не укрылись в зарослях или пещерах, то крестьяне (вспоминая зиму 1943 года, когда четники ловили здесь партизан) ничтоже сумняшеся отвечали: "Это мы умеем, нас четники научили, когда мобилизовывали против партизан."

Илью Булатовича я хорошо знал еще до войны: честный и скромный, он был склонен к умничанью, как многие крестьяне с несколькими классами гимназии – только у него эти классы были заменены марксизмом на уровне партийных школ. После того, как 28 июня 1948 года была опубликована резолюция Информбюро коммунистических партий против Югославии, он мне, как старому знакомому, направил письмо, в котором обращался в ЦК с призывом не предавать Советский Союз и не уводить Югославию в фарватер империализма! Я пригласил его на обед и на разговор, когда он в июле прибыл в Белград как делегат Пятого съезда КПЮ. На словах, с недомолвками, подавленно, он соглашался с ЦК и свое письмо оправдывал взволнованностью и опасениями. Я надеялся, что Илья преодолееет догматические и моральные дилеммы, как преодолели их товарищи и более ответственные, чем он.

Дело Булатовича и его дружины, может быть, наиболее жестокое, однако не типичное для расправ с

просоветскими членами КПЮ (так называемыми коминформовцами). Все они — за малыми исключениями и не считая тех, кто эмигрировал в восточноевропейские страны, — были загнаны в лагерь. Даже с теми, кто осужден условно, — это были главным образом офицеры — обращались как с заключенными. Это, строго говоря, был единственный в Югославии случай применения лагерной системы — лагерь был на Голом Острове, в северной части Адриатического моря.

Эта тема тоже "табу", на которую в Югославии почти никто не писал — никто, кроме писателя Антония Исаковича: его роман на эту тему отказались печатать два года тому назад, а недавно я слышал, есть шансы, что он будет опубликован. Тема эта поистине важная со всех точек зрения, и я не могу ее обойти не только из-за Тито, который несет наибольшую долю ответственности, но и из-за самого себя: Голый Остров давил на меня и как тема, и как вопрос совести — конечно, после того, как я разошелся с Тито и другими руководящими товарищами, вернее, с того момента, как я стал критически относиться к настоящему, а тем самым и к прошлому.

Решение о создании лагеря для просоветских коммунистов (осенью 1948 года) Тито вынес без консультации — он не советовался ни только с ЦК, но и с Политбюро, даже с секретарями ЦК. Тогда и я, наряду с Карделем и Ранковичем, был одним из секретарей и об этом решении узнал в Черногории: член ЦК Черногории Андро Мугоша сообщил мне, что они получили распоряжение из Белграда переарестовать "коминформовцев" и направить их в лагерь. Ранкович, конечно, в принятии решения участвовал, потому что его аппарат и проводил это решение в жизнь. Решение, если не ошибаюсь, было принято внезапно: когда начались аресты, лагерь еще не был подготовлен, хотя кое-что для него и было отобрано.

Могу лишь догадываться, почему Тито "обошел" ЦК и своих долголетних, самых близких соратников.

В ЦК он не встретил бы никакой оппозиции, или незначительную, молчаливую. Может быть он сомневался, может быть опасался более широкого противодействия и колебания на верхах? Уже было известно, что есть и союзные министры, и послы, и члены ЦК республик, симпатизирующие Советскому Союзу и Информбюро. От природы Тито не был болезненно недоверчив, он был осторожен и бдителен. Но атмосфера была напряженной, отравленной, заговорщицкой — ежедневно нас поражали известия о колебаниях или высказываниях в пользу Информбюро того или иного крупного работника. Сталинистов обнаруживали, или они сами себя проявляли во всех учреждениях, просоветская пропаганда, клеветническая и запугивающая, смущала умы и у многих сдавали нервы. Сомнения и подозрения угнездились в душах всех, кто считал себя ответственным за государство, за прошлое и за партию. Ранкович мне как-то в начале конфликта со страдальческим видом сказал: "Хуже всего, что не знаешь, кто враг! Тот, кто еще вчера был другом, стал врагом, врагом в наших собственных рядах!"

Если кто и был недоверчивее других, так это Тито — у него был опыт, приобретенный в Советском Союзе, он взял на себя самую тяжелую ответственность, отважившись на ссору со Сталиным. В 1951 году он расспрашивал Ранковича обо мне, так как заметил, что я озабочен и в плохом настроении. Когда Ранкович ответил, что я влюбился в одну работницу аппарата ЦК, в мою будущую жену Стефанию, Тито отмахнулся: "А, вот в чем дело, а я уже подозревал гораздо худшее..."

А может быть быстрое, личное решение — мне это кажется наиболее вероятным — Тито принял на основании сообщений о росте числа сталинистов в партийных комитетах и среди офицерства. Уже и до этого арестовывали наиболее шумных и активных. Но "коминформовцев" становилось как будто все больше и больше.

И аресты Жуйовича и Хебранга тоже не обсуждались в ЦК, Тито и это решение принял единолично. Правда, это был ущербный ЦК - ЦК, избранный в 1940 году на Пятом партийном совещании, и ни разу не собранный на пленум. Первый пленум состоялся в марте 1948 года, для ответа на письмо Молотова и Сталина... В примечаниях к своим "Сочинениям" Тито сейчас утверждает, что пленум ЦК не мог состояться в связи с военными событиями. Чепуха! А за три послевоенных года? Когда было время и для многочисленных охот и досугов! Да и во время войны: разве ЦК не мог собраться, как собиралось АВНОЮ<sup>11</sup>? ЦК был создан тогда, когда Тито потребовалась легальность, вернее поддержка всего форума против Сталина. До той поры собиралось, от случая к случаю, только политбюро, нерегулярное - состоявшее из кооптированных членов. Атака Сталина и советского правительства не только ускорила созыв Пятого партийного съезда и упорядочение партийных верхов, но и вынудило Тито стать более терпимым и больше работать в коллективе.

Тито - очевидно внезапно, но после длительных размышлений и накопления фактов - осознал опасность и одновременно принял решение о методах обороны. Страхи росли, нагромождались, а методы... с методами он уже ознакомился в Советском Союзе. И не только он! Предчувствовал эти методы и я, хотя известие о создании лагеря - как каждую крайнюю меру - воспринял болезненно. Ранковичу я, например, еще до резолюции Информбюро от 28 июня 1948 года, заметил (во время того, как мы в автомобиле ехали по кругу Звезды на Дединье): "Мы теперь с приверженцами Сталина поступаем так, как он поступал со своими противниками!" На это мне Ранкович возразил в большом расстройстве: "Не говори этого! Не говори об этом!"

Озираясь назад, со всем критицизмом, на который способен, я и сегодня считаю, что мы не могли

обойтись без концентрационного лагеря для "коминформовцев". Наша партия была сталинской в буквальном смысле этого слова и уже обладала монополией власти: терпимость, легализация оппозиции внутри партии, одновременно с агрессивным давлением советского блока и коммунистических партий, могли бы привести к распаду югославской компартии и к приходу к власти просоветского течения. Трудность, даже беда диктаторской, а в особенности тоталитарной власти в том, что она никому не может позволить заниматься оппозиционной деятельностью, не подорвав при этом основ своего собственного существования. К тому же просоветское течение было более сталинистским, чем наше руководство. Приход к власти представителей этого течения - в этом ни у кого не могло быть сомнения - означал бы не только свержение руководства и кровавую чистку партии, но и подчинение Югославии Советскому Союзу.

Мы были смесью, синтезом своей революционной власти и ленинистских, вернее сталинистских, учений - на первом месте была власть, вернее, реальность. И хотя мы даже с "коминформовцами" не расправлялись со сталинской бесцеремонностью - мы, если бы у нас и была эта возможность, не умели обойтись без лагерей.

Аресты шли уже полным ходом, когда в Скупшине протолкнули, состоявший из трех или четырех статей, закон о лагере под неуклюжим, но "невинным" и функциональным лозунгом: "Общественно-полезный труд". Возглавители госбезопасности любят такие лозунги. Служба безопасности выносила "приговоры" на два года, но в лагере их часто продлевали.

Зло и позор - зло, ни с чем не сравнимое, позор, и сегодня еще живой, незабываемый - ожидали заключенных в самом лагере. Мало того, что питание было плохим и скудным, а работа в каменоломнях бессмысленная и изнурительная - лагерников подвергали еще и мучениям, жестокость которых превы-

шала лишь их утонченность. Работники госбезопасности получили задание "перевоспитывать" заключенных, но лично они должны были "избегать" принуждения. И Тито в своих речах похвалялся: "Мы их перевоспитываем". Работники УДБА с помощью раскаявшихся и завербованных заключенных организовали в лагере "самоуправление" - именно так это называлось! - которое и взяло на себя применение непосредственного насилия, то есть "перевоспитания".

Тогдашняя двойственная политика югославских коммунистов: с одной стороны, не быть бесчеловечными, как сталинисты, а с другой, добиваться примерно таких же результатов - проявилась в лагере в самом отвратительном, лагерном виде. Уже во время погрузки на судно заключенных швыряли прямо в трюм. А во время разгрузки их уже ждали две шеренги "самоуправляющихся" заключенных, и новоприбывшие проходили сквозь град пинков и ударов. Прогон "неисправившихся" через строй был проверенным и часто применявшимся методом ("принцип теплого зайца", по роману Исаковича). Бывали и линчевания. "Нераскаявшихся", "непоправимых" унижали всевозможными способами, которые способны изобрести только догматическое безумие и холуйское усердие: их окунали с головой в парашу, заставляли ходить с надписью "Предатель" и другими, схожими, вынуждали исповедоваться перед коллективом в своих, даже и неполитических, прегрешениях. Методически обдуманно и придумано.

Нельзя сказать, что никто понятия не имел о том, что происходило на Голом Острове. Об этом догадывались - и я догадывался! - по характеру публичных покаяний и по кое-каким подробностям. Но все полностью, самое главное, не знал даже и Ранкович. После посещения Голого Острова - я думаю, это было летом 1952 года - он вернулся потрясенный и воодушевленный приемом заключенных: "...то-

варищи, которые осознали, - мы должны изменить свое отношение к ним..."

В сентябре 1953 года я был в Нишкой Бане в вилле, где разместились писатели Добрица Чосич и Оскар Давичо. В беседах - чаще всего о новых путях к большей свободе, которые открыл наш коммунизм своим противостоянием Сталину и советскому блоку - Чосич, который побывал на Голом Острове из писательского любопытства, рассказал мне, что УДБА избрела и применяла там методы, может быть самые изощренные в истории. По возвращении в Белград я сообщил Ранковичу то, что рассказал мне Чосич, и организовал доклад Чосича Ранковичу. На встрече присутствовал и Кардель, который в раздражении выругался (он ругался только в раздражении) и воскликнул: "Я так и знал, что там будет какое-нибудь свинство!" Ранкович после этого приказал начать расследование, сменял, улучшал, .. но лагерь продолжал существовать.

Через лагерь прошло около 15 000 членов партии и сочувствующих. Большое количество попало туда только за просоветские высказывания в узком кругу знакомых, а некоторые - вообще ни за что. Но было там немало и "активистов", которые настаивали на создании организации и на ведении пропаганды. Заключенные не имели права на юридическую защиту и на свидание с родственниками. В лагере стряпался материал для новых арестов: выдача единомышленников, находящихся еще на свободе, была самым верным доказательством раскаяния и "отказа от заблуждений". Если учесть, что среди офицеров было значительное количество "коминформовцев" - у меня в памяти сохранилась цифра 7000! - то опасность грозила немалая, хотя "бдительность" и была проявлена излишняя.

Немногие, а может быть никто, не вернулся с Голого Острова без ущерба, неискалеченным. Может быть, не столько физически, сколько психически и

интеллектуально: озлобленный, подавленный, охваченный ужасом. Даже мудрые и благородные намерения – не говоря уже о насильственном идеологическом исправлении, "перевоспитании" легко, даже неминуемо приводят к уродствам и бедам – если они не проводятся без общественного контроля, именно общественного, потому что только общественный контроль есть подлинный контроль!

Хотя я не был непосредственно связан с созданием лагеря и с его управлением, своей идеологической активностью – обострением и углублением критики Сталина и советской системы – я тоже внес свой вклад в несчастья заключенных: мои высказывания воспринимались как официальные, как обязательные, и те, кто их плохо усваивал, или у кого замечались сомнения, должны были выступать там с "самокритикой". Можно себе представить, в каких условиях.

А сомнения появились и у меня – в конце 1949 года, после возвращения из США, с заседания Организации Объединенных Наций. У меня уже мелькали "еретические" мысли. Я заметил, что официальный и полуофициальный Запад с пониманием, отчасти злорадным, наблюдает за преследованием "коминформовцев". Но кое-кто и негодовал, исходя из гуманных побуждений. На докладе у Тито о деятельности нашей делегации я упомянул, что следовало бы подумать о ликвидации лагеря и отдаении под суд виновных. Первым воспротивился Кардель: "Лагерь нам сейчас необходим до крайности!" Ранкович заметил, – если я точно запомнил – что с коминформовцами не так уж легко было справиться "нормальными средствами". Тито помолчал, раздумывая. Он отклонил предложение – кажется, под предлогом, что отказываться от лагеря еще рано. Вот так мы реагировали и в этом случае, как чаще всего реагирует политик, не имеющий над собой общественного контроля – один сказал одно, другой другое, но никто не подумал

серьезно об условиях, в которых находились люди, о человеческих страданиях, а только о политических целях.

На пленарном заседании ЦК 12 апреля 1948 года – первом со времени выборов ЦК в 1948 году! – на котором был принят ответ на обвинительное письмо Молотова и Сталина, Тито воскликнул: "Наша революция честна – наша революция не пожирает своих детей!" И в тот момент, когда Тито убеждал таким образом сам себя и всех остальных, никак нельзя было подумать, что как раз в это время своим сопротивлением Советскому Союзу Югославия начинает выплачивать долг "своим" ленинистским и сталинистским компонентам – начинает пожирать тех своих детей, которые оставались "верны" этим компонентам. Аресты и лагерь для "коминформовцев" были жестоким подтверждением этого... Да, вот так оно и есть: революция, которая не пожирает своих детей, – не настоящая революция. А дети, которые исходя из революционных иллюзий допускают, чтобы революция их пожрала, – живущие вне времени неподлинные революционеры.

У власти, у государства, которое создавал Тито и которое создало Тито, отсутствие общественного контроля, информации и дискуссии – даже внутри правящей партии – привело и в расправе с "коминформовцами" к чересчур жестоким и извращенным мерам. Запрещение свободы информации, регулируемая информация – это коренное и невыносимое зло коммунистических режимов, не исключая и титовского, югославского. Это зло поражает все общество в целом, все поры общества, оно останавливает органическое развитие, оно подстрекает экстремистские силы – как подпольные, так и находящиеся у власти – на террор и насилие. Если бы была свободная информация, если бы была более свободная дискуссия... Но это была бы уже иная, *третья Югославия*, о которой сегодня можно только мечтать. Тогда не

было бы и лагеря на Голом Острове. Да если бы хоть внутри партии не доминировала над всем воля вождя и преданной ему, неконтролируемой тайной полиции — тогда если бы даже и был создан лагерь, режим в нем не был бы ужасной смесью "перевоспитания" и самоволия "перевоспитанных".

Но если бы это было, то не было бы многого другого — тех же колхозов. Кардель, например, лично был против колхозов, но в то же время именно он был докладчиком по вопросу о колхозах на Пленуме ЦК в 1949 году. Не было бы принудительных закупок, во всяком случае в течение стольких лет. Эти закупки сам глава промышленности Кидрич назвал в конце концов грабежом. Однако это еще не было наихудшей стороной этих закупок. Помню, что после того как Кидрич на одном из заседаний Политбюро сообщил, что необходимо будет откупить 65 000 вагонов пшеницы, — Ранкович, записывая это в свой блокнот, сердито заметил: "Двенадцать тысяч арестованных!"

Крестьян через два-три месяца выпускали, но какую атмосферу создавало, какое отчаяние и беды вызывало такое количество арестов и сопровождающие их жестокости!

Если бы было хоть немного "доброй воли" и достаточно свободной общественности и независимого контроля...

Сегодня, без сомнения, дело обстоит уже иначе. Система эволюционировала, во всем изменилась — однако механизм власти, монополия информации и метод принятия решений и сегодня по сути дела таковы, что "в случае необходимости" все могло бы повториться снова.

И сегодня арестовывают — разговор идет не о террористах и шпионах, которых все арестовывают и должны арестовывать. Арестовывают выборочно, когда кто-то выделяется как самостоятельная и непокорная личность. За высказывания среди друзей и

"приятелей". За встречи с эмигрантами. Почти всегда за "вражескую пропаганду". Потому что в понятие "вражеская пропаганда" можно впихнуть ворчание по поводу недовольства ценами или нехватки квартир: сейчас за это не арестовывают, но, не дай Бог, и это может понадобиться. Трех-четырёх таких выборочных арестов достаточно, чтобы запугать средней величины город, если не целый край.

И Тито иногда — например в 1978 году, во время заседания "хельсинских" дипломатов в Белграде и кампании за права человека в Югославии — жаловался на "клевету" за границей, что, мол, в Югославии нет свобод и что он, Тито, против свободы. О том, что он вообще против свободы, никто и не думает: потому что как раз Маркс сказал, что никто не против свободы вообще, а только против такой свободы, которая угрожает "нашей" мощи. Тито как раз за такую "выборочную" свободу, как Кардель был за "дозированную" свободу — за "свободу, соответствующую росту сознательности". Если бы было иначе — Тито не был бы верен самому себе: своему коммунизму и своей власти.

Потому что Тито — последователь "чистой власти": этой властью он наложил свою печать на все области социальной и национальной жизни — печать, которая будет видна какое-то время и при "новых вождях", даже тогда, когда они на словах начнут отмежевываться от титовского "волюнтаризма", его "капризов" и "низкого уровня".

Кому-то удастся преодолеть себя и свои возможности, но никто не может преодолеть своего дела. Жизнь боролась, пробивала себе дорогу вглубь и вширь и во время Тито и его власти. Свою "чистую власть" Тито не мог и не хотел обуздать, не говоря уж о том, чтобы переступить через нее.

## 9. ВЛАСТИТЕЛЬ СОЗДАЕТ СЕБЯ И СВОЙ ОБЛИК,

### А ВЛАСТИТЕЛЯ - ДВОРЦЫ И ДВОРЯНЕ

Пристрастие ко дворцам Йосип Броз Тито проявлял уже во время войны. Но еще большую - к пещерам. В боснийских и черногорских горах не так уж много дворцов, но немало пещер, годящихся, кстати, и для укрытия от бомбардировок. Тито отказывался от роскоши только в крайних случаях - когда под ударом бывали жизнь и деятельность.

Во время войны, как только мы занимали какой-нибудь городок, даже село - Тито выбирал для себя самое лучшее здание. Или для него выбирали. Идеальное место жительства было в Ужице в 1941 году в здании Народного банка с туннелем-бомбоубежищем. Во время войны было рискованно оставаться долго на открытом месте, и Тито в большинстве случаев предпочитал пещеры, леса или укрепления, которые перед войной соорудили королевские власти, да так и не успели их использовать. Склонность ко дворцам и пещерам была и у других руководителей. Но у Тито она была наиболее отчетливая, я бы сказал, органическая. Особенно ко дворцам, к роскоши - она у Тито происходила из того же источника, что и страсть к абсолютной власти и абсолютистскому образу правления.

Как только Тито вернулся в Белград - через несколько дней после освобождения его (20 октября 1944 года) советскими и югославскими частями - он осмотрел королевские дворцы на Дединье и приказал привести их в порядок. Дворцы были скорее запущены, чем повреждены. Даже мебель и посуда не были разграблены. Белый дворец князя Павла был в худшем состоянии, чем дворец короля Александра (его называли Старым дворцом, так как он был выстроен на несколько лет раньше). Оба дворца стоят на холме, доминирующем над окружающей окрестностью, в большой роще. По сравнению с другими европейскими дворцами - это лишь большие роскошные особняки.

Тито больше нравился Белый дворец князя Павла, который был и светлее, и выстроен в более современном, хотя и неоклассическом стиле. Дворец короля Александра был в так называемом сербском, ориентально-балканском стиле. Белый дворец был отремонтирован до окончания войны, и Тито туда переселился, оставив за собой и королевский дворец и виллу на Румынской улице (после конфликта с советским блоком улицу переименовали в Ужицкую). Королевский дворец был предназначен для глав иностранных держав или других высоких гостей. В этом дворце 12 и 13 апреля 1948 года состоялось и заседание ЦК, на котором был принят ответ на резолюцию Информбюро против югославской компартии. Королевский дворец для таких заседаний Тито выбрал не случайно: в нем до сих пор не было заседаний и было больше шансов, что он не озвучен\*, и меньше вероятности нападения с воздуха или диверсии.

В первые годы после войны Тито проводил большую часть своего рабочего времени в Белом дворце, в то время как личная его жизнь проходила главным образом в особняке на Румынской улице. Этот особняк, с большим садом и огородом, раньше принадлежал богатому сербу Ацевичу. Во время войны его реквизиовали немцы для своего комиссара Нойхаузена,

ведавшего хозяйством Сербии, а после войны конфисковали коммунисты. Этот дом, вероятно, самый красивый и удобный на Дединье; штаб Первой армии его уже во время боев за Белград предназначил для Тито. Позже Тито забрал еще несколько соседних вилл и огородов, так что получился целый большой комплекс. А вокруг него - возведена новая каменная стена. Тито привык к этому особняку и в нем не только жил, но и работал, и принимал - кроме особо торжественных случаев.

По протоколу и по закону Тито не имел права на королевские дворцы, поскольку он был главой правительства, а не государства. Такое право должно было быть у президиума, как формального возглавителя государства. Но Тито на это не обращал внимания, а формальные возглавители - председатель президиума д-р Иван Рибар и члены президиума - не жаловались, довольные и тем, что им досталось.

Даже в период королевского наместничества - после создания совместного правительства с представителями королевского правительства - никто не возражал: ни королевские наместники, ни министры короля. Правда, король - под давлением британцев - согласился на наместничество и на наместников, которых предложили мы, коммунисты. То же было и с королевскими министрами. Наместники были довольны своей почетной, хотя и недолговечной ролью, и не заботились об имуществе короны, которую они представляли только формально. Победители испокон веков обладают правом на все - кроме духа, который они не могут ни понять, ни обуздать.

Не укоряли Тито за захват дворцов и другие - члены ЦК, которые должны были бы иметь право на упрек, хотя бы как революционеры. Они тоже были довольны успехами, должностями и открывающимися перспективами под водительством Тито. Кроме незначительных оттенков, все они были за одну и ту же власть, за Тито - Тито эту власть олицетворял и

осуществлял. Сомнения и замечания, если они и были, оставляли при себе - чтобы не быть обвиненным в фракционизме, враждебности или "болезненном выскомерии". Все они уже были добровольными рабами партийного и идеологического единства, все отчужденные и беспомощные вне своей секты, вне власти и утопии.

Склонность к роскоши неотделима от титовского "самовольного" захвата дворцов, но значение ее второстепенное. Самое главное в этом захвате - как и во всем, что было для Тито самым главным, - власть, осуществление абсолютной, авторитарной власти. Причем власти двойной - над государством и над партией.

В глазах народа дворцы - средоточие и символ власти. Так называемые простые люди, народ, не так уж рад расточительству на дворцы и роскошной жизни властителей. Но они считают это естественным и неизбежным: если богатство редко сопровождается сиянием, то власть им сопровождается всегда, пусть даже ложным. Никто после революции больше не разделял учения о божественном происхождении власти. Но народ продолжал и дальше относиться к власти как к чему-то необычайному, возвышенному: ведь от власти зависят судьбы людей и народов. Поэтому простые люди - хотя и считали, что коммунистические руководители ввалились во дворцы и виллы некрасиво и не по заслугам - не слишком порицали их за это: так, мол, было после всех войн и восстаний. (Посмеивались только над обещаниями коммунистов, что когда они придут к власти, то все будет по-иному, что начнется эпоха воздержания, скромности и равенства). Поэтому народ и не видел ничего необычного в том, что Тито поселился в королевских дворцах - он вождь и власть в его руках.

Это чувствовал, это знал и Йосип Броз Тито. Вселившись во дворцы, управляя из дворцов, он как бы подключился к монархической традиции, к тради-

ционными представлениям о власти и о правителе. Опыт и устремления Тито тоже не были более научными и изысканными – если с них удалить налет марксистских учений о классовом характере власти и отмирании государства. Его понятия о правителе, как о рачительном хозяине и о гражданах, как о верно-подданных – были по сути примитивны. Дворцы, особый, "возвышенный" стиль жизни приносят не только удовольствие, но и создают картину мощи и исключительности. Как раз в то время, когда занимались дворцы, начали поступать письма и телеграммы с выражением преданности от некоторых жителей, которые во время революции особой преданности не высказывали – это было самое начало позднейших всенародных излияний и заклинаний. Споря по этому поводу в узком кругу с "чистюлями" и "народниками" вроде меня, Тито говорил: "Ерунда! Лучшие граждане – это послушные граждане! Преданные граждане – опора государства!"

Но присвоение дворцов имеет еще гораздо большее значение для подчинения партии Тито и для внесения обожествления его личности в партийную универсальную коммунистическую идею. Точнее: слияние идеологии с его личностью. Но Тито не идеолог, как Ленин, а в то время он не был даже и таким идеологом, как Сталин. Это слияние могло быть осуществлено только с помощью абсолютной власти, с помощью власти и ее блеска. Тито никогда, а в особенности придя к власти, не был "скромным" и "простым", как Сталин или Мао Дзе дун: внешний блеск был ему необходим не только из-за личных побуждений выскочки и не только для подключения к традиционному монархизму – но и как компенсация за идеологическое невежество и отсутствие школьного образования.

Дворцы, роскошь и помпезность были не только наиболее наглядными, наиболее сильными выражениями титовских намерений и начинаний, они были ре-

зультатом всего предыдущего развития, показателем тогдашнего состояния партии и новой власти. Все это складывалось уже во время войны, укреплялось после наиболее кровавых, решительных сражений, узаконивалось "популяризацией" Тито, как спонтанной, так и организованной, слиянием всех руководящих функций в одних-единственных руках, в руках Тито. А началось, .. началось это еще перед войной – идеологическим, партийным единством, завоеванным в жесточайших внутривластных и "классовых" стычках, в которые Тито вкладывал все свои силы, упрямство и ловкость.

Присвоение дворцов было лишь следующим шагом – шагом крупным и более значительным и смелым, чем это казалось. Разумеется, это имело и более широкое, антикоролевское и революционное значение: захвачены символы, королевские резиденции, хотя король формально еще не свергнут. В этом все коммунисты поддержали Тито, а те, кто был недоволен монархией и старой Югославией, не могли упрекнуть. Но, как я уже сказал, для Тито было самым важным подчинить партию, привязать к себе коммунистов. А их сознание было еще главным образом эгалитарным и народническим, привычки же и образ жизни почти аскетическими. Столь блестящую власть, столь необузданную роскошь своего вождя многие, особенно интеллектуалы – революционные интеллектуалы – воспринимают идеологию более глубоко и буквально – не могли и не хотели принять без ропота. Это как раз и вызвало первые недовольства: Хебранг, который и сам не отказывался от роскоши, жаловался в начале 1945 года советским руководителям, что Тито больше интересуется ремонтом Белого дворца, чем боями на Сремском фронте. Чаще же всего негодование рождалось из сравнений с королем: "Тито ведь не король!"

Но ропот быстро утихал – потому что противник был еще силен и активен, потому что положение Ти-

то и в партии и у советских товарищей было настолько прочным, что он любого мог стереть с лица земли как "врага", потому что унаследование дворцов было "проверено" и признано правильным непогрешимой Москвой. Рассуждали так: что поделаешь, государство не отомрет еще долго - надо его еще охранять и крепить, Тито - вождь, прошедший тюрьмы и революции, никто не чужд человеческих слабостей...

Йосип Броз Тито присваивал королевское добро откровенно и последовательно. Он подчеркивал, в мелочах, в ежедневных разговорах, что все дворцовое имущество принадлежит ему. В этом была и положительная сторона: дворцы и виллы были отремонтированы, сохранены мебель, посуда и художественные произведения. В управление служащих и гвардейских офицеров, которые подчинялись лично Тито, по мере освобождения страны переходило и другое королевское имущество, даже такое, которое могло бы понадобиться ему лишь на короткое время: полуразрушенная вилла на горе Романии, виллы в Сплите. Более того, громадные имения и охотничьи угодья - Караджорджево, Белье, которые в старой Югославии были государственными, а королевская семья в них лишь гостила, охотилась или проводила короткий отдых, - перешли в управление нового господина или под его надзор и для использования по его усмотрению. Правда, Тито при использовании проявлял известную широту: членов Политбюро и ближайших сотрудников пускали туда на охоту, - в особенности, если и он сам в ней участвовал, - и эти, и другие имения снабжали их всех продуктами.

Единственным исключением из этого были королевское имение и вилла в Тополе, в Сербии, а также королевский дворец в Милочере, на Черногорском Приморье. В первом случае, думаю, играл роль некоторый предрассудок, некоторое неудобство: в Тополе находится церковь-усыпальница династии Кара-

георгиевичей. Имение там к тому же и невелико - два небольших особняка, а Тито таскал с собой громадный обслуживающий и охранный аппарат. Кроме того, Топола одно из наиболее почитаемых святых мест в сербском национальном сознании - и ее передали правительству республики Сербии. Милочер же находился в глуши, был слишком мал, туда было трудно добраться - и его, после некоторого колебания и после того, как Тито ориентировался на Брионские острова,\* - передали правительству Черногории. Дворцы в центре Белграда уже до войны не использовались для королевских нужд - в одном была картинная галерея, а другой в начале войны был поврежден немецкими бомбами. Они были неподходящими, их невозможно было изолировать и надежно охранять: их отремонтировали и передали союзному и сербскому президиумам.

Сколько стоило содержание всех этих бесчисленных дворцов и вилл с обслуживающим персоналом, который хорошо оплачивался и пользовался всякими привилегиями? Со временем, после ликвидации закрытых распределителей и введения рынка, и у Тито был введен какой-то расчет, во всяком случае, что касается оплаты персонала. Зарплата Тито была незначительной, символической - ее не хватило бы на оплату кухни и гардероба. Его личные расходы не были отграничены от государственных, представительных. Тито просто отдавал распоряжение министерству финансов - и оно оплачивало за счет представительства и стройки, и разные приобретения. Когда господствуют расточительство и привилегии, невозможно отличить необходимое от ненужного, как невозможно определить, сколько в действительности истрачено. Несомненно, Тито был самым дорогой правитель своего времени. Стоит вспомнить, что король Александр I Карагеоргиевич - это подчеркивалось не только в коммунистической пропаганде - имел самые крупные доходы после японского императора. Офици-

ально Тито обходился гораздо дешевле, а в действительности, если посчитать обслуживающий персонал и имущество – намного дороже.

Захват Тито королевских дворцов и имений ударил в первую очередь по коммунистам: примирившись с этим обстоятельством, они тем самым согласились стать своеобразными дворянами и верноподданными.

Между обслуживающим Тито персоналом вспыхивали скандалчики, интрижки, они воровали, завидовали друг другу. Тито все удивлялся: "Невероятно, как портятся вокруг меня люди!" Портило их то особое, привилегированное положение, в котором их держали. Конечно, не все портились – всегда есть и скромные и честные, но порок охватывал и таких, кто в нормальной обстановке не разложился бы. Их портила непосредственная близость власти, которой они служили, и несоразмерные возможности, которые она им предоставляла.

Установить, какие там были нарушения, а какие нет, какие происходили беззакония, извращения – невозможно. Масштабы всего этого гораздо шире, чем то, что совершалось вокруг самого Тито. Тито наверху, Тито лучше всех виден.

Но забирая себе все королевское имущество, Тито не возмущался и не ограничивал руководящих товарищей и партийные форумы, когда они присваивали дома и имущество скомпрометированных (это определение нужно понимать как широкое и растяжимое!) политиков и богачей. В эти первые послевоенные годы мы, находившиеся на верхах, часто и без затруднений меняли виллы, заказывали из "государственных резервов" мебель и картины, ценность которых мы чаще всего даже не умели определить. В этих делах одними из самых скромных были Коча Попович\* и Александр Ранкович – первый из интеллектуального, второй из партийного пуританизма. Что касается предметов искусства, то скромность проявил и я: картины вскоре передал народному музею, а ренес-

сансную скульптуру – библиотеке издательства "Культура". Не знаю, находятся ли сегодня картины в запасниках музея, скульптура же и по сей день стоит в центре библиотеки.

Вскоре после освобождения Белграда созданы по советскому образцу и "магазины" – закрытые распределители, предназначенные для высоких партработников и наиболее важных служб. В Белграде был знаменитый "дипломатический магазин", который снабжал союзное правительство, Центральный Комитет и дипломатов высококачественными товарами по низким, символическим ценам.

Присваивания, переезды с места на место, переделка кабинетов, погоня за предметами искусства и мебелью ширились как некая приятная эпидемия, захватывая не только отдельных руководителей, но и учреждения, даже художественные объединения. Лучшие отели и виллы, за малыми исключениями, были превращены в закрытые дома отдыха: у ЦК Коммунистической молодежи была вилла под Белградом – якобы для работы над подготовкой докладов!

Я никогда не слышал, чтобы Тито упрекал кого-нибудь на верхах за роскошество или за устройство слишком дорогих – за счет государства – приемов. Разумеется, и он был против краж и злоупотреблений. И против излишеств, в особенности таких, которые раздражали бы окружающих или становились широко известны. А когда – по инициативе Кидрича и моей, после незначительного отпора товарищей, которые проводили летний отдых у Тито на Брионах – были ликвидированы закрытые распределители, Тито приспособился: он отделил свою личную кухню от представительной, государственной. И констатировал: "Невероятно, сколько тут у меня разбазаривалось! Каждый брал и таскал что хотел! Ведь можно хорошо жить и на зарплату!" Но если такое творилось на личной кухне Тито, на Ужичкой улице № 15, то сколько разбазарено, растаскано и раскрадено в

многочисленных, бесчисленных дворцах, виллах, охотничьих домах и на Брионах? Личный шофер Тито Прля, "первоборец" (участник партизанского движения с первых месяцев гитлеровской оккупации. - *Прим. пер.*) - типичная смесь борца и люмпена, так стремительно "выслуживался" и получал чины, что обнаглел даже по отношению к членам Политбюро и государственной собственности: его уличили в продаже резины и запчастей из богатого гаража Тито, и он застрелился, чтобы не попасть на каторгу. Но и дело Прли, и отделение личной кухни Тито от государственной были в начале пятидесятых годов, во время жестокой борьбы против "бюрократизма" и "сталинизма". После того как личная власть Тито снова усилилась, все счета - личные и государственные - были снова бесконтрольно перемешаны.

Но Тито присваивал не только королевское добро - имение крупного помещика и винодела Мозера было присоединено к новому дворцовому управлению и сделалось главным поставщиком продуктов питания. Крестьяне это имение прозвали "Титова ферма". В это прозвище они не вкладывали ничего зазорного: было Мозерово, стало Титово. Также вначале даже в аппарате можно было слышать, как высшее учреждение называли "двором": "из двора", "для двора"... Потом стали называть более прилично - "маршалат": "из маршалата", "для маршалата".

На королевском добре Тито не успокоился: он все строил, все приумножал - пока в начале 1980 года не лег на смертное ложе.

Наиболее обширные работы были проведены на Брионских островах, которые Тито превратил в свою летнюю резиденцию. Но и после всех перестроек Брионские острова сохранили те качества, которые придал им их хозяин и устроитель времен Австро-Венгрии. Тито обогатил их зоологическим парком - Тито любил, чтобы для него выращивали дичь, любил он и убивать дичь. Выстроен там был и отель для высших

руководителей - все добротное и за бесценно. Виллу графа Чано\*, в которой он вначале поселился, он великодушно уступил Карделю, себе же отстроил новую, более просторную. "Там можно устроить прием на пятьсот персон", - подчеркивал он, когда вилла строилась. Строили ее главным образом заключенные, они же выполняли и другие работы на Брионах - конечно, в более благоприятных условиях, чем в тюрьме, да еще с большими шансами на помилование и на условное освобождение. В 1952 или 1953 году, когда уже начал проявлять себя мой "анархо-либерализм", Вукманович-Темпо, вернувшись с Брионских островов, рассказал мне, что Тито сказал ему в шутку: "Опиши Джиде виллу и скажи ему: все великое в истории построено рабами..." (Джидо - прозвище Джиласа. - *Прим. пер.*)

Я никогда не ездил на Брионы, кроме как по необходимости, по службе. Это было замечено - и отмечено: "Отделяешься от коллектива..."

В Белье, возле королевского охотничьего дома, Тито воздвиг настоящий охотничий дворец. Так и в других местах: только на короткое время и только когда этого нельзя было избежать, останавливался он в домах, которые не были его "собственностью". В Игале, куда он ездил лечиться от ишиаса, для него расчистили целый холм - на котором был городской парк - и выстроили просторную виллу. Слышал я, что он этим не совсем доволен, и что для него начали строить дворец в Милочере - возле старого, королевского, маленького и непредставительного. В это время Тито было не то восемьдесят пять, не то восемьдесят шесть лет!

То же было и с отделкой дворцов и вилл и, в особенности, с приобретением произведений искусства: Тито их или заказывал сам, или для него их доставали - конечно, за государственный счет - руководящие товарищи, которые этим доказывали свою преданность, а некоторые и укрепляли свое положение

ние. Так в виде "подарка" прибыла на Бриони так называемая Брионаская Венера Августинчича\*. Большая часть картин, которые после войны коллекционер Мимара подарил "хорватскому народу", то есть национальным музеям Хорватии, тоже оказались в загребских виллах Тито. Боюсь, получится так, что я - вроде "анфан террибль" тогдашнего югославского руководства - все замечал и на все указывал. Но я действительно сказал - когда Тито в 1946 или 1947 году самодовольно показывал присутствующим функционерам только что прибывшую коллекцию картин Мимары - "Это надо было бы передать в музей". Меня никто не поддержал, хотя бы уже потому, что Тито окрысился: "Ты, ей Богу, не понимаешь, что такое государство - это и репрезентирует, и здесь лучше сохраняется."

Лет через двадцать возник скандал: Мимара поднял в иностранной прессе вопрос: где картины? После этого - так было сообщено - их собрали и передали в музей.

Я мог бы привести еще несколько подобных примеров - и не только в связи с Тито. Но с тех пор многое переменилось к лучшему, - так пусть же будет и меньше очернения, и меньше самохвальства.

В наследство был получен дворцовый поезд. Поезд короля не был для Тито ни достаточно удобным, ни достаточно роскошным - и был переделан. Поезду были приданы также два бронированных состава, один двигался перед поездом Тито, другой сзади. В планировании столь основательной безопасности участвовали и советские службы - это было в конце войны, до того, как советская вербовка наших партийных работников и служащих приняла систематический и угрожающий характер.

Тито строил, приводил в порядок имения и охотничьи угодья, нисколько не задумываясь, во что это все обходится - но четко, почти как скряга, знал подлинную стоимость вещей. Объяснить это можно

как абсолютистским сознанием, так и деревенским инстинктом хозяина. В нем виден был - и в этом сильнее всего - бедняк, дорвавшийся до возможности строить, приумножать, улучшать. В его сознании и действиях настоящее сливалось с будущим: он стремился запечатлеть себя на будущее в зданиях и памятниках. Он подчеркивал: "Надо строить - всегда потом что-то остается".

Но не только один он строил. И для него строили - с его согласия, конечно, - республиканские и другие руководители. Джуро Пуцар в 1952 году объяснял мне постройку дворца возле Врело Босне так: "Мы это выстроили для Старика - когда он будет навещаться в Сараево". Часто это было не только угождение Тито, а и оправдание собственной роскоши и комфорта.

Знал ли Тито, каким количеством дворцов и вилл он располагает? Сомневаюсь, что это вообще кто-нибудь точно знает - тут границы расплывчаты и где-то сливаются с республиканскими аппетитами и претензиями.

Тито вполне серьезно, с непреклонной твердостью принимал виллы и другое добро, которое ему "дарили". Об автомобиле марки Роллс-Ройс: "Мне подарил его Загреб". Про виллы, которые Павелич\* отнял у евреев, и которые потом оказались собственностью Тито: "Это подарил мне Загреб". Как будто Загреб, загребские власти не зависят от Тито, как будто деньги на автомобиль не взяли у жителей Загреба, а виллы Павелича не были конфискованы!

Аппарат Тито, а по его примеру всяческие союзные и республиканские учреждения, забрали все более значительные охотничьи угодья. По иерархии и иерархия угодий: богатые угодья, изобиловавшие крупной дичью - почти все союзные. В эти годы ходила шутка: только у зайцев районное значение! Но и это со временем менялось - "демократизировалось" и "коммерциализировалось": в угодья начали пускать

даже иностранцев - за валюту, конечно. На одни лишь права и привилегии Тито никто не покушался.

Все может стать политикой. Так было у нас и с охотничьими угодами и с охотой - когда требовалось подчеркнуть сердечные отношения или добрые намерения. Так и в других областях, повсюду.

Две охоты остались в моей памяти - обе с Тито. Они для меня имеют особое, незабываемое значение, как иллюстрации революции и моего еретического, критического отношения к Тито и титовской реальности.

Соседние народы чаще и злее ссорятся, чем соседи. В этом отношении исключение представляют сербы и румыны: они не ссорились ни в давнем, ни в недавнем прошлом. Так и в прошлую войну - хотя Антонеску не запретил немцам пользоваться румынскими аэродромами - румынская армия не участвовала в операциях против Югославии. Эта дружба между сербами и румынами продолжалась и между новой Югославией и новой Румынией. Война еще не окончилась, а Петру Грозе, глава румынского правительства, прибыл с визитом к Тито. Это был первый неофициальный визит представителя соседнего правительства.

Связи с румынским правительством крепили. Непосредственность и сердечность исходили не только из общей коммунистической идеи, но и из спонтанного стремления к сближению с Югославией. Они тоже страшно пострадали от войны. Чувствовалось, что они страдают оттого, что их обыграли и искалечили, и что они "допустили" почти полное уничтожение их партии и движения сопротивления. Румыны больше ценили нас, чем мы их: роль тут играли, конечно, восстания сербов против турок в прошлом, к которым в сознании румын подключалась и революционная война югославов против фашизма.

Больше из симпатий, чем по политической необходимости, румыны пригласили наше руководство на совместную охоту. Было тут с обеих сторон и стрем-

ление к подражанию - властители и государственные деятели совместными охотами подчеркивали сердечные отношения и добрые намерения. Охоты, охотничьи пиршества - югославы в этом, без сомнения, занимали первое место - были манифестацией, подтверждением власти. Никто из нас, в том числе и Тито, до войны не был охотником - я, мальчишкой, удил рыбу. На охоту отправлялись не столько для отдыха и развлечений, сколько для представительства и показа силы и исключительности.

Не помню, где происходила эта государственная, румынско-югославская охота. Вероятно недалеко от границы, потому что в пути мы были недолго.

Охота должна была начаться на следующий день - на рассвете, естественно. Вечером румынские руководители - был тут секретарь партии Георгий Георгиу-Деж, Анна Паукер, поверхностная и привлекательная несмотря на зрелый возраст, Василе Лука и другие - устроили ужин в королевском дворце, слишком красивом, чтобы служить только для охоты, а не для жилья. Петру Грозе, крупный помещик из Трансильвании, не присутствовал на ужине, вероятно из аристократической вежливости: Грозе стал председателем правительства при короле Михайле и ему было неловко угощаться в королевских дворцах. На следующий день он и в охоте не участвовал, а только прогуливался в одежде для верховой езды, с загадочной улыбкой на полном лице.

Ужин был - как можно себе представить - обильный, с румынскими специальными блюдами, которые побуждали к сравнению их с югославскими. Румынские цыгане с вдохновением пели и мастерски играли, в особенности на своих многоствольных флейтах. Ужин, сопровождавшийся беседой и шутками, затянулся до поздней.

В охране участвовали и товарищи из нашей тайной полиции, которые сообщили нам утром, что во дворце находилась и королевская семья, согнанная

в одну комнату на верхнем этаже. Оказывается, дворец был местом ссылки королевской семьи, в то время как сам король Михаил находился в эмиграции. Нам стало неловко. Впервые я ощутил себя членом какой-то цивилизованной разбойнической дружины. Нам было на самом деле неудобно, хотя и не настолько, чтобы нас не забавляла нетактичность румын. В особенности же нас развеселило сообщение, что румынская служба безопасности тщательно обыскала цыган и отобрала у них королевское серебро, которое они накрали в то время, как мы спокойно наслаждались едой, питьем и мелодиями, столь похожими на наши.

Другое "открытие" сделали мы сами, руководители, во время охоты. Коча Попович первым заметил, что загонщики - было их несколько сотен - хотя и были в папахах и кожухах, не похожи на крестьян. Они были молодые, белолицые, с нежными руками, и, что самое необычное - среди них были и девушки. Мы заговорили с ними. Сначала они стеснялись, но потом мало-помалу разговорились: студенты, в большинстве члены партии, которых служба безопасности доставила из самого Бухареста. Все поголовно говорили по-французски. Им было немного стыдно, хотя и хотелось поглядеть на Тито...

Другое воспоминание об охоте отражает взаимоотношения на самой узкой нашей верхушке. Для меня оно было значительно, хотя я сам в этой охоте не участвовал - и вообще у меня не было склонности к коллективным охотам.

Было это в сентябре 1953 года. Охотники вспомнили, что начинается олений гон и что Тито, как и другие руководители, в это время непременно бывал в Белье, где его ожидали тщательно отобранные капитальные олени.

В то время Кардель как раз окончил работу над законом о конституции, который заменял конституцию 1946 года, составленную во многом по образцу

советской (так называемой сталинской) конституции 1936 года. Кардель конституции придавал большое значение, как инструменту, который сделает возможной демократизацию. Когда в спорах с ним говорили, что Скупщина похожа на морг, а депутаты на куклы-автоматы, поднимающие руки, он начинал уверять, что "теперь будет даже слишком много дискуссий - конкретные вопросы будут решаться." Его размышления шли так далеко, что как-то он мне с таинственным и озорным видом бросил: "Может быть, мы постепенно и до оппозиции дойдем..."

В конституции была предусмотрена фракция председателя как главы государства, вместо существовавшего до тех пор президиума. Само собой разумеется, что для этой функции был предусмотрен Тито, и, когда шла еще работа над конституцией, Кардель на совещании - Политбюро или Секретариата - докладывал об основных ее принципах. Тито особенно подробно интересовался правами и ролью председателя. Кардель, который это предвидел заранее, придал функциям председателя - в соответствии с ролью Тито и с титовскими претензиями - достаточно веса. После этого казалось, что для принятия конституции уже нет никаких препятствий.

Конституция должна была к тому же отразить и нашу, вспыхнувшую вдруг, приверженность - в противоположность сталинским, советским извращениям! - Марксовому учению об отмирании пролетарского государства. В это время Кардель был - если и не самый последовательный, то во всяком случае наиболее выдающийся и авторитетный - теоретик связи отмирания государства с демократизацией и самоуправлением. Он считал, что слишком большое участие партии и наивысших руководителей в решении повседневных, в особенности экономических вопросов, тормозит этот процесс. Поэтому в конституции он предвидел правительство, составленное из специалистов, конечно, коммунистов, и переброску высших партий-

ных деятелей в качестве депутатов в Скупщину — для увеличения ее авторитета и усиления ее активности. Эта точка зрения Карделя, как и соответствующие статьи конституции, были известны и Тито, и поэтому считалось, что они приняты.

Но черт не дремлет! Неожиданно Кардель был срочно вызван в Белье, где Тито охотился на оленей. Задержался там Кардель недолго — ему стало надо охоты! — наверное, он там только переночевал.

В то время я виделся с Карделем почти ежедневно или, как минимум, подолгу говорил по телефону — не столько по делам, сколько из-за схожести мыслей и для проверки своих идей. Поэтому я знал, что Кардель поехал в Белье: я предчувствовал какие-то неприятности, потому что Тито уже летом, на пленуме ЦК на Брионах начал тормозить демократизацию и возвращать партию на проверенные ленинистско-сталинистские рельсы.

Я был у Карделя уже на следующий день после его возвращения из Белье. Он рассказал: "Старик говорит: вы (то есть высшие партийные руководители — М. Друс.) все в Скупщину, а меня оставляете наверху одного!"

Это означало, что Тито не очень хочет иметь правительство из специалистов и резко против "спуска" членов ЦК в Скупщину. Тито, очевидно, побаивался активизации Скупщины, в особенности если бы она развивалась по инициативе и под руководством высших партийных работников. Я никак не соглашался с удалением этих статей из конституции, потому что они мне казались существенными — я, конечно, преувеличивал их значение! — для демократизации верховной власти. А, может быть, еще больше меня оскорблял и метод, которым все это было проведено: без консультации с Политбюро, во время охоты... К тому же и спешки никакой не было — Тито через два дня вернулся в Белград. Я считал — может быть ошибочно, может быть благодаря своим, уже ерети-

ческим настроениям! — что и способ принятия решения, и способ сообщения о нем Карделю — не случайны. Тито недвусмысленно и резко восстанавливал взаимоотношения наверху в том виде, в каком они были до конфликта со Сталиным и до реформ — реформ скромных и во второстепенных областях, реформ более глубоких и реальных в области духа, не в реальности.

Я упрекнул Карделя: "И ты все это проглотил!" — "Ну, не совсем так!" — ответил он обиженно. Обижен он был, очевидно, не столько своей подчиненной ролью по отношению к Тито, сколько тем, что я вслух упомянул об этой его роли. Думаю, что именно тогда, во всяком случае в то время, я сказал Карделю фразу: "Тито носитель бюрократизма!" Эту фразу он потом процитировал на Третьем пленуме ЦК в январе 1954 года, на котором я был смени и осужден за "ревизионизм". Почему Кардель это сделал? Скорее из нелояльности, из партийного оппортунизма, чем из опасения, что нас подслушивали. А скорее всего и по первой, и по второй причине.

Ничему легче не обучаются, ни к чему быстрее не приспосабливаются, чем к роскоши и к барской жизни. Для этого не требуется ума: была бы власть, а уж всякого рода знатоки найдутся, которые ради легкого и хорошего заработка и научат, и все устроят. Так было и с нами, когда в конце войны стала расти наша сила. Так и с Тито.

В начале — но только короткое время! — некоторые не могли сориентироваться, обнаруживали свою примитивность. Кто в большей, кто в меньшей степени, в зависимости от происхождения, культуры и находчивости. Тито принадлежит к тем, кто и быстрее всех сориентировался, и легче всех приспособился, хотя он — если принять во внимание его функцию, дворцы и претензии — попал в наиболее сложное и деликатное положение.

Во дворцах и виллах Тито не только был быстро установлен порядок, но и европейский уровень. Если и были мелочи, которые персонал, особенно военный – а в какой-то степени и сам Тито – просматривал, все быстро выправлялось. Двор Тито ни в чем не отставал от королевского двора, а по роскоши превосходил его. Только расточительность на драгоценности и на роскошь – причем больше самого Тито, чем услуги или дипломатического протокола – остались неизменными. Формы Тито были более позолоченны, чем у всех других; все, что принадлежало ему, должно было быть "подлинным" и "неповторимым": поясная пряжка с гербом была из массивного червонного золота, и пояс от ее тяжести немного спадал. Писал Тито чаще всего массивным золотым пером.

Тито выработал для себя особый стиль и особый дипломатический протокол: его стул находился всегда в центре и внешне отличался от других, одежду он менял по три-четыре раза в день – в зависимости от того, какое впечатление хотел произвести. Так например, перед армией и военными командирами он появлялся всегда в маршальской форме, которую придумал совместно с художником. Иногда он с помощью одежды подчеркивал свою позицию: если он, например, появлялся в военной форме перед гражданскими лицами, пусть даже членами ЦК, то это могло означать, что его точку зрения поддерживает или будет поддерживать армейское руководство. Он регулярно загорал под кварц-лампой – чтобы и зимой быть бронзового оттенка. Он красил волосы, его искусственные челюсти были белоснежные. И хотя у него не было необходимости демонстрировать свою физическую силу – потому что он уже от природы был сильным и подвижным – в присутствии большого количества зрителей он держался и двигался более бодро и энергично, чем обычно. Тито отработывал свой стиль, и для него этот стиль отработывали до деталей – так что он сделался для него привычкой. Мо-

жет быть, мне это только кажется, – что до войны он подавал руку по-иному, чем после того, как воцарился в Белграде: без пожатия, почти не поднимая кисти, так что тот, кто с ним здоровался, должен был наклониться.

Тито этот свой стиль тоже должен был отвоевать – навязать его с помощью своей собственной воли или с помощью нижестоящих "догадливых" товарищей. Так например, серьезная проблема создавалась в связи с телеграммами Тито главам иностранных государств по поводу национальных празднеств или особых происшествий. В довоенной печати подобные телеграммы не публиковались, кроме исключительных случаев, и такой практики не было нигде в мире – даже в сталинском Советском Союзе. В редакциях это знали и телеграммы Тито обычно помещали в малозаметных местах, а иногда и вообще не публиковали. Из личной канцелярии Тито летели протесты, Тито и мне не раз говорил: "Это подрывает мой авторитет!" И я, сам в это не веря, ставил на вид редакторам, редакторы поправляли дело – пока снова какой-нибудь дежурный редактор не допускал "промах", после чего снова поступали протесты из личной канцелярии, а Тито выражал недовольство. Так продолжалось по крайней мере несколько лет. Наконец узел "разрубил" Дедиер\*, после того, как его назначили главным редактором "Борбы": "Я разрешил вопрос с телеграммами Тито – мы их будем помещать на первой полосе." И так, вместо традиционных передовых статей на важные темы, на первое место попали поздравления Тито и от Тито, которые никто не читает, потому что они все похожи одно на другое. Газеты заплатили "по счету", но разве это важно, если наверху перестали гневаться и подозревать?

Ордена Тито, коллекционирование орденов для Тито – входило в задачи самой высокой государственной политики, как внешней, так и внутренней.

Потому что в стране надо было отмечать разные годовщины и всевозможные достижения, в которых главная роль принадлежала Тито, которых без Тито, может быть, и не было бы вовсе. При визитах иностранных государственных деятелей или при визитах Тито иностранным государствам, как правило входил в договорные обязательства обмен орденами. Был когда-то один король, черногорский Никола I. Он тоже любил ордена, и мало у кого было их столько, как у него. Но с Тито он никак не смог бы сравняться: Тито - государственный деятель с наибольшим количеством орденов. Насколько титовские ордена, его любовь к декоративности вошли в сознание народа и стали методом подхалимства, лучше всего иллюстрирует недавнее предложение одной из парторганизаций Социалистического союза в Белграде - наградить Тито четвертым орденом Народного героя в связи с успешно прошедшей операцией. Этому предложению не дали хода: болезнь Тито осложнилась и стало сомнительно, удастся ли его вообще вылечить.

У Тито не было развитого вкуса к декоративности - ни личной, ни общественной. Но он понимал, какое значение имеют декоративность и помпезность для власти - в особенности для его личной власти и для его концепции власти. Для осуществления этой концепции у нас без труда находили "декораторов", хитрых на выдумки приспособленцев. Трибуны, конгрессы, манифестации, "стихийные", внушительные и всегда "величественные". И всегда окрыленные лицом Тито, под сенью Тито и под титовскими лозунгами.

На самом же деле эти манифестации и встречи не были стихийными. Стихийности было тем меньше, чем стихийнее все казалось. Во время войны и сразу после войны к революционному воодушевлению примешивался страх побежденных. Постепенно это различие стерлось и все слилось в ритуальные, рутинные и конформистские празднества с торжественной и

единообразной декоративностью. Постепенно, со смелой руководителей, исчезли с плакатов все пропагандируемые портреты, кроме титовского: личная, абсолютистская власть неизбежно приводит к безличности. Муку мученическую, помню, испытывали товарищи из Агитпропа - а я, как начальник, больше всех! - вокруг манифестаций Первого мая. В самом начале в них была некоторая стихийность - как и в первом праздновании дня рождения Тито. Однако стихийность приятна, она нравится, но в ней недостаточно мощи, она не так "впечатляет". Организация и организованность все усиливалась... Писатель Зогович, которому все эти выкрики и парады перед вождями не нравились, хотя и происходили по советскому образцу, уже на первомайской манифестации в 1946 году, во время прохождения группы хирургов, которые в полном облачении на грузовике демонстрировали, как делают операцию, пробурчал мне: "В следующий раз они будут принимать роды!"

А с организованностью умножались и замечания - прямо тут, во время манифестаций, на трибуне, а потом на заседании Политбюро. Организацией манифестаций заведовал специальный отдел, но обязанности надзора лежали на Агитпропе - и главный огонь обрушивался на меня. Это были больше упреки, чем критика: то, почему несли портрет *этого* руководителя, а *того* не несли; то, почему *эти* портреты не таких же размеров как *те*; то, почему *эта* фабрика навалила в грузовик чуть ли не металлолом, а не так, как *другая* - только основную продукцию; то, почему *этот* пригород движется оравой, в то время как вот *те*, из центра, идут стройными рядами; то, почему портрет Сталина - пока Сталин еще был в чести - меньше (или больше) портрета Тито?

Тито делал замечаний меньше, чем все другие - вероятно и потому, что каждая группа выкрикивала его имя и обязана была нести его портрет, превышающий размерами все другие портреты - кроме сталин-

ского! Но Кардель, Ранкович и другие втягивали Тито, требуя, чтобы он давал, пусть неопределенные, но зато окончательные суждения. Значит, любая проблема важна для взаимоотношений на верхах, а тем самым, конечно - и для страны, и для народа!

Однако и Агитпроп не зевал и не медлил - опыт извлечен, вопрос поставлен по-новому. На заседании Политбюро я предложил (и предложение, с некоторыми поправками, было принято!): сколько должно быть портретов тех и других руководителей, какого размера каждый, сколько тысяч граждан должно участвовать (цифра не должна была быть точной, могла быть приблизительной), сколько автомобилей-выставок, сколько того, сколько этого... и так далее, до последних мелочей. Кончилась критика, но кончилась и стихийность - как на верхах, так и в народе. Так этот вопрос и был окончательно разрешен, пока первомайские парады вообще не начали отмирать - по мере того, как разгорались и углублялись идеологические распри с Советским Союзом.

Отрабатывая свой стиль - методы властвования и поведения - Тито во многом был подражателем: он ничего до конца не изобретал сам, но подражал, додумывал и приспособлял к конкретным условиям. И как раз то, что было в основном - или полностью - подражанием, больше всего и вызывало нарекания, ропот и возмущение "по секрету" даже в непосредственном окружении Тито. В королевской Югославии был обычай - без сомнения перенятый из королевства Сербии, где он был введен как память о девяти братьях Юговичах, павших в судьбоносной битве на Косовом поле\* в 1389 году: если в семье рождался девятый мальчик, то его крестил король, становившийся таким образом кумом семьи. Тито перенял этот обычай, как только стал править из королевского дворца. Однако Тито уже не мог быть таким кумом, каким был король: во-первых, не было обряда крещения, во-вторых, нельзя было долго уходить от вопроса о

равноправии женщины. Но Тито и без священника, и без обряда крещения становился кумом (никто не мог найти взамен более подходящего слова), причем не только в случае рождения девятого мальчика, а вообще девятого ребенка. Семей же с девятью детьми было немало, некоторые даже начали настаивать на своих правах задним числом, начали выпрашивать - и получать - от своего высокопоставленного кума разные льготы и привилегии. Это кумовство Тито все разрасталось - и длилось около двадцати лет - пока, очевидно, ему самому не надоело и постепенно не отмерло.

Конюшни, скаковые лошади... Подражание королем и богачам в этой области было настолько шокирующим и гротескным, что "взбунтовало" даже непосредственное окружение Тито - Кардель, Ранкович и другие. Читатель уже догадывается: на скачках, как только они были возобновлены, появились и лошади "из конюшни маршала Тито". Все конюшни были уже государственными, принадлежали государственным хозяйствам или государственным конным заводам. И вдруг появляется одна-единственная частная конюшня - и не чья-нибудь, а маршала Тито! - хотя известно, что он не занимается специально коневодством и что "конюшня маршала Тито" на самом деле - армейский конный завод. И что маршальская конюшня слишком часто берет первые призы! До чего бы мы дошли, если бы в то время была разрешена рулетка?

Редакции приходили в замешательство: с ипподрома поступает сообщение - а из личной канцелярии Тито приказ это сообщение напечатать - что какой-то конь "из конюшни маршала Тито" взял первый приз на скачках... Вероятно, секретные доклады тайной полиции, поступавшие ежедневно из всех районов - Тито эти доклады тщательно изучал - были весьма отрицательны, а замечания на верхах слишком часты. Во всяком случае, "конюшня маршала Тито" через год или два перестала брать первые призы и упоминаться в печати.

Существовала королевская традиция, в первую очередь традиция королей, преподносить подарки сиротским домам. Правда, коронованные особы в этом не слишком усердствовали. Вероятно потому, что дарили из своего собственного кармана, к тому же не так уж много путешествовали и не так часто посещали детские и сиротские дома. Тито же ездил много, а сиротских домов, особенно для малых детей, война наплодила достаточно. Деньги же... С деньгами у Тито затруднений не было, потому что он заказывал их в государственной кассе, причем в новеньких банкнотах, тщательно пересчитанных и упакованных.

Много раз я присутствовал при раздаче помощи. И каждый раз получавшие эту помощь приходили в замешательство. Сиротские дома и так содержались государственной казной, люди знали, что Тито дает не свои деньги, им было неловко, что получают только они - благодаря посещению Тито. Неприятнее всего было, и принимавшим подарки и нам, во время поездки Тито в Черногорию летом 1946 года: учительница или управляющая одного из сиротских домов, думаю, что это было в Ужице, просто не могла сдвинуться с места - стоя с пакетиками денег в руках, она заикалась: "Так ведь у нас есть... другим гораздо хуже, гораздо хуже, спасибо, спасибо..."

По возвращении в Белград у меня с Ранковичем произошел разговор о том, что Тито подражает королям. Ранкович обычно не поддерживал мои "брюзжания", но на меня не "стучал". Но по вопросу денежных подарков - без сомнения потому, что он и сам был свидетелем неприятных сцен раздачи милосердия - и он стал на мою сторону: "Я с этим не согласен, это неправильно и оскорбительно". Но это продолжалось еще долго - пока Тито не понял, что подражая королям в раздаче милостыни, он подрывает свой авторитет.

Короли тоже люди, как все - немногие из них становились подлинными вождями и самодержцами. Наследуя корону, короли наследуют и королевские манеры, но немногие из них умеют править "по-королевски", самодержавно. Многие короли могли бы позавидовать абсолютистскому образу правления Тито - а некоторые из королей ему и завидовали! А если что-то в его стиле и поведении не выходило по-королевски, то это было из-за его происхождения и недостатка образования. Он не положил начало своей династии, потому что был умелым и талантливым политиком: коммунисты бы его не поняли, а страна только что отказалась от одного короля. К тому же корона была ему и не нужна: он был абсолютным властителем и именно поэтому добился такой власти и таких почестей, о которых нынешние короли могут только мечтать.

## 10. ЛИЧНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ЛИЧНОСТЬ И ДЕЛО - НЕРАЗЪЕДИНИМЫ

Характер Тито - как и его личную жизнь - невозможно отделить от его политического призвания и политической деятельности. Даже в часы забав и забвений у Тито ощущалось преобладание того, иного, "подлинного", политического Тито. Поэтому о частной жизни Тито можно говорить только условно, как о чем-то несомненно отдельном и неизбежном - потому что и он человеческое существо! - но как о чем-то неотделимом от его политики и политизированности. Более того, хотя он всегда старался сохранить равновесие между личной и политической жизнью - когда они входили в конфликт - политика всегда перевешивала.

Могут ли политические вожди реагировать иначе? И не только они, а каждая творческая личность?

Но в моем рассказе прервалась бы нить и утерялся смысл, если бы в нем не было попытки соизмерить или хотя бы описать взаимосвязь и взаимное влияние Тито, как частного лица, и Тито, как общественного деятеля. Тито как личности, обладающей определенными качествами, и Тито как вождя югославского коммунистического движения и своеобразного властелина. Эту связь, связь между част-

ным и общественным у политического вождя, дьявольски трудно объяснить, хотя она безо всякого сомнения существует, причем гораздо более значительная, чем это предвиделось в марксистской - и не только марксистской - "объективной необходимости".

Однако возвратимся к теме, приблизимся к герою нашего повествования! Йосип Тито был подвижным, немного нервным, но умел держать себя в руках.

Его кисти, короткие и костистые - а после того, как он пополнил в 1943 году, после Пятого наступления, плотные - гармонировали с его костистым лицом с тонкими, как бы скульптурными чертами. После долгого, навязанного им бездействия, руки мгновенно оживали - чтобы схватить что-нибудь, а лицо - чтобы что-нибудь выразить. В это мгновение сильнее открывались и вспыхивали его синие небольшие глаза под редкими светлыми бровями на выпуклых надбровных дугах. Однако он это оживление быстро обуздывал и его лицо и руки возвращались в свое обычное состояние, выражавшее или самодовольство, или озабоченность, но очень редко - покой.

Тито - личность чрезвычайно чувствительная и эмоциональная, склонная к мгновенным огорчениям и восторгам. Однако он быстро подавлял свои эмоции и подключал их к реальным действиям - иногда нужным, а иногда бесполезным или вредным. В моменты большой и неизвестной опасности Тито охватывало дикое, бешенное беспокойство, которое вынуждало его нетерпеливо нащупывать, искать выход. Но Тито с такой же быстротой приходил в себя после тревог и стычек и окунался в новое дело. Уже этого одного достаточно, чтобы догадаться, что слабости Тито как командира-тактика происходили и из его темперамента, а не были только следствием боевой обстановки и соотношения сил - хотя противником и была инициативная, храбрая и стойкая немецкая армия. Но из этих качеств Тито происходили и его положи-

тельные стороны: пронизательность и смелость, особенно при принятии стратегических, политических решений.

Тито был силен физически, а еще более вынослив: он никогда не жаловался на физическое напряжение и не боялся его – заранее уверенный в себе, уверенный, что он его преодолеет. Ему не нужно было – как многим, в том числе и мне! – напрягаться сверх сил, чтобы поддержать мораль бойцов... Во время Четвертого наступления, в марте 1943 года, во время ночного марша через гору Прень, Тито, в силу каких-то обстоятельств, на время остался без коня. Вскоре он вышел в голову колонны – хотя казалось, что спешившись ему надо еще привыкнуть к трудному маршу – и задал такой темп, что бойцы, не знавшие, кто их ведет, ворчали и ругались. Такая "беготня" на маршах с Тито была нормальным явлением. Она обнаруживала как беспокойство и вечную спешку Тито, так и его выносливость.

Нет сомнения, что в выносливости Тито важную роль играли сильные мускулы и крепкие кости. Но решающей была какая-то его нервная энергия, которую он обильно расточал, но которая и обуздывала внезапно саму себя. Как и Сталин, он обладал громадной, бросающейся в глаза способностью к нервной концентрации и собранности. Но у Сталина эта нервная энергия была затаенной и накопленной в слабом теле, и чаще всего проявлялась в его живом уме или в выражении лица. У Тито же ее, так сказать, излучало все тело.

Тито был явно красивым мужчиной – более красивым с женской, чем с мужской точки зрения. Блондин, всегда загорелый, ладно скроенный. Круглый череп, высокий лоб, крупный, с небольшой горбинкой нос, тонкие, немного изогнутые губы, выдающиеся скулы. Живые движения и большая физическая сила, сконцентрированная в небольшом теле, а в особенности нервное и энергичное выражение лица делали его

заметным с первого взгляда. Более германский, нордический тип – если бы он был высоким, а не ниже среднего роста, он мог бы быть образцом нордической расы. Скульптор Августинчич, сделавший несколько портретных скульптур Тито, в шутку говорил: "Он, наверное, от какого-нибудь дворянина – где вы видели такого загорца?" А один югославский адмирал "сообразил" написать, что не такую уж малую роль играет то обстоятельство, что наш вождь, вдобавок ко всему, очень красив. Все вожди, становясь вождями, становятся красивыми – в глазах своих обожателей. О Тито со спокойной душой можно сказать: он был красивым, очень красивым человеком и до того, как стал вождем. Да и после того – хотя и растолстел.

Тито – личность страстная и непосредственная. Страстная во всем – в личных стремлениях и мелких пожеланиях, в еде и в питье, в любви и ненависти, при вынесении самых крупных решений и в конфликтах в семье, с прислугой. Конечно, во всем до определенной границы. Контроль над собой Тито терял только в критические моменты, да и то ненадолго. Контроль над собой он мог "потерять" надолго, только если считал, что это принесет ему политическую выгоду. В таком случае говорили: "Тито сердится!" Это означало, что с повестки дня нужно снять определенный вопрос – или убрать того или иного деятеля.

Вскоре после того, как я познакомился с Тито, весной 1937 года в Загребе, он назначил встречу на горе под Севницею в Словении. Он остановился в пансионе со связной Гертой Хасс, которая впоследствии стала его женой, в то время как остальным, Карделю, Лоле Рибару\* и другим, даже в голову не пришло взять с собой своих подруг, хотя бы даже для прикрытия перед властями. Тито как бы не делал большой разницы между своими любовными стремлениями и важными партийными делами. Однако Герту

он удалил со встречи, даже послал - я провожал ее до станции - за товарищами из Любляны. Тито был восхищен куриным супом, удручен плохой погодой - что бы все это тут же забыть, вспомнив о чем-то более важном, а в особенности - о новых задачах.

Темперамент Тито, естественно, ярче всего проявлялся во время войны, в непомерных и судорожных напряжениях, в стремлении выжить и победить. Его телеграммы в Коминтерн, то есть советскому руководству, отражают не только несогласия и расхождения югославской революции и советских интересов, но и личность Тито как таковую - личность страстную, смелую и до конца захваченную своим делом. Его тон, горячность его возражений - особенно в связи с советскими двуличием и неверием в то, что четники Дражи Михайловича сотрудничают с оккупантами - часто переходят границу, допущенную во взаимоотношениях коммунистов с Москвой. Москва увеличивала свое доверие к Тито соответственно усилению нашей армии, увеличению нашего престижа на Западе и укреплению нашего положения на Балканах.

Черная кошка пробежала между Москвой и Белградом уже во время войны - в тот момент, как югославская революция и ее вождь с непредвиденным упорством начали бороться за свое собственное лицо и за свое место. Но, могу сказать, это была борьба за власть и за личную власть. Без сомнения. Но какая борьба, в особенности вооруженная, не есть борьба за власть? Когда идет речь о Тито, в особенности Тито во время войны, или о его отношениях с Москвой, то тут смешивается личный темперамент с вековым, исконным возмущением против несправедливостей, которые великие державы бездумно обрушивали на подверженные ударам и не обладающие достаточной мощью балканские и южнославянские народы.

Его чувствительная и страстная натура мучалась и потрясалась при виде гибели и страданий. Но быстро и легко - под наплывом новых задач и но-

вых трудностей - забывал о несчастьях и возвращался в свою обычную жизнь, подвижную и активную. Тито не был ни очень человечен, ни слишком бесчеловечен, а был реалистом и действовал сообразуясь с целью.

Дружба с Тито никогда не была неприятной - кроме как в случае более или менее острых политических расхождений. Тито был не без чувства юмора, хотя его остроты не были ни тонкими, ни оригинальными. Его шутки не были ни грубыми, ни оскорбительными. Принимал он шутки и по своему адресу - мягкие шутки, шутки, которые не должны были задевать его престиж и его тщеславие. Я не помню, чтобы он когда-либо шутил по адресу Карделя. Кардель тоже не шутил над Тито. Отношения между ними были серьезные, рабочие, хотя они и были близкими друзьями. Ранкович шутил над Тито мягко и осторожно. И другие были осторожны: он был старший, самый ответственный и - обидчивый. Но и вообще наверху не было грубости: долголетняя дружба, скрепленная трудностями и ответственностью, приводила к тому, что случайная грубость вызывала не раздражение, а огорчение.

Над остроумными шутками и умело рассказанными анекдотами Тито смеялся от души, до слез. Он восклицал: "Иди ты к дьяволу!" - и снова корчился от смеха. Обособленная и довольно одинокая жизнь во дворцах способствовала, я бы сказал, таким взрывам смеха - если уж урывалось время, чтобы повеселиться и расслабиться.

Тито не ругался, кроме тех случаев, когда хотел выразить презрение к противнику, причем по-народному, не вводя в ругательство самого себя, то есть без глагола в первом лице. Не ругались и другие, разве что в моменты, когда забывали себя, и тоже в безличной форме. Исключением был Моша Пияде\* - у него ругательства были "в крови", это было духовное местечковое, языковое и эмоциональное на-

следство. Ругался он неудержимо, самозабвенно и с наслаждением. И другие с удовольствием слушали его ругань – никто на него не обижался, так как в его ругани не было ни "положений", ни "заклучений". Читая об Уотергейте, я подумал: Белый дом во время Никсона по ругательствам шел далеко впереди Белого дворца Тито и Политбюро югославской партии...

В свободное время – в поезде, на охоте или когда случалось нам у него засидеться – Тито охотно пускался в общий разговор без определенной темы, а иногда и играл в неазартные игры, домино или шахматы. Впрочем, в шахматы он играл все реже, так как они требовали времени и сосредоточенности. В домино он играл рассеянно, свои пластинки клал перед собой и каждый раз, когда подходила его очередь, поднимал их все и все наново рассматривал. В кости, в азартные игры он не играл, и вообще на самом вершине азартных игр не было – хотя они быстро проникли и к высоким партийным работникам.

Тито не был разговорчив – в частной жизни он говорил гораздо меньше, чем в общественной. И когда рассказывал о себе, то кратко, как бы мимоходом. Не любил он излишней разговорчивости и в других: в беседах и в забавах он стремился к содержательности и конкретности.

В общем и целом он обладал открытым характером и ясным рассудительным умом. Никогда не бывало, чтобы он уходил от ответа на какой-нибудь вопрос, даже если это был вопрос интимный или неприятный – хотя мы из уважения и осторожности думали сперва, что спрашивать. Если же ему не хотелось отвечать, он отмахивался и говорил: "Так ведь тогда было такое положение"... "О таких вещах все не рассказывают"... "Вот, ты хотел бы знать и то, о чем знать не следует".

И все же Тито, и во время смертельной опасности, и во время беззаботных забав – во время опасности меньше, чем во время забав – держался на оп-

ределенной дистанции, непроницаемый и недоступный. Между ним и его друзьями, даже между ним и его женами, причем, между ним и женами больше – всегда была заметная граница. Но именно граница, а не пропасть! Эту границу проводил он, она существовала и в его инстинктах и в его сознании, становилась ощутимой каждый раз, когда кто-то к ней чересчур приближался или готовился ее перейти. Проявлялось это всегда во внезапно каменевшем выражении его лица, в язвительном или презрительном взгляде, в резкой реплике – и никак иначе. Тито никогда не шел на интимные разговоры-исповеди, на чрезмерную близость – он не был создан для этого. Всем своим поведением, всегда, в любой момент – и в личной и в общественной жизни – он давал понять: всегда помни, кто есть кто, кто я, а кто ты; дружба дружбой, но моя личность и моя роль неприкосновенны и исключительны... Тито был личностью серьезной, ответственной и самоуверенной.

И гордость! Чего было больше, тщеславия или гордости? Или – это будет ближе всего к истине – смеси, переходов от гордости к тщеславию? Он обладал хорошей памятью. Но не был злопамятен. Он реагировал сразу, и, оценив обстановку, учинял расправу тут же – или откладывал ее. Карделя он ни разу не упрекнул за то, что тот 5 июня 1945 года – согласно письму ЦК ВКП(б) югославскому Центральному комитету от 4 мая 1948 года – десолидаризировался с ним в присутствии советского посла Садчикова. Разрыв с Карделем в то время повредил бы Тито и сыграл на руку Сталину, а Кардель уже потерпел поражение самим фактом публикации разговора с Садчиковым. Однако в душе Тито навсегда оставались рубцы, если бывали задеты его тщеславие или гордость. Гордость он считал существенным свойством югославов – не только из-за югославского упрямства, но и из-за упорства, которое Тито носил в себе. Однажды я сказал – это было незадолго до моего расхож-

дения с ним - что в Австрии не было принудительной денационализации. "Нет, не было, - заметил он. - Но там следили, чтобы австрийцы были во всем первыми: я не взял первое место по фехтованию в австрийской армии только потому, что был хорватом".

И если мы уж говорим об Австрии и о том, что Тито не забыл оскорбления его национальному тщеславию, то напомним: Тито, как рассказывает Карл-Густаф Штрём из газеты "Вельт", был готов, во время его официального посещения Австрии, принять орден, которым он был награжден во время Первой мировой войны, но который ему не успели вручить, поскольку он попал в плен к русским. Этому запоздалому вручению помешали лишь предрассудки социалистического председателя Австрийской республики по отношению к Австро-Венгерской монархии.

Тщеславие-гордость, тщеславная гордость настолько присутствовала в личности Тито, что трудно было предсказать, когда она будет задета. Например, было видно, что Тито завидует, если кому-то больше везло на охоте или если у кого-то была какая-то безделушка, более красивая, чем у него. Он расстраивался, если проигрывал в бильярд или в домино. Были, правда, и другие - среди них и я - которых это тоже расстраивало. Надо сказать, что он подобные случаи быстро забывал - и вообще в таких его реакциях было что-то детское.

Уверенность Тито в своем историческом значении происходила также от тщеславной жажды славы. Здесь у него был большой диапазон - от крохоборства до мании величия. Он ревниво сохранял самые незначительные, принадлежавшие ему мелочи, а одновременно поощрял воздвижение памятников своей персоне, создание музеев, посвященных его деятельности - и вел наблюдение за ходом работ. Тито не расточитель - роскошь у него с расчетом. Он и не скряга - кроме тех случаев, когда вопрос был о чем-то,

что принадлежало ему: ко всему, что ему служило или чем он пользовался, Тито относился так, как будто на этих предметах на веки вечные запечатлелась его личность. Тито распорядился поставить во дворе его виллы на Ужицкой улице бронзовую статую коня, который ходил под ним во время войны. Невдалеке от статуи коня поместили и статую смертельно раненого юноши - если не ошибаюсь, это работа скульптора Роксандича, изображающая Лолу Рибара. Конь Тито дошел до Белграда, и Тито устроил для него небольшую конюшню в саду своей виллы. Конь этот послужил Жуйовичу\* поводом для упреков в адрес Тито. Когда Тито - после десанта на Дрвар 25 мая 1944 года - входил в самолет, который должен был доставить его в Италию, он крикнул Жуйовичу, оставшемуся с партизанами: "Черный (кличка Жуйовича. - М. Джс.), побереги мне коня!" Черный обозлился: "Он о коне заботится, а мы сами тут в хорошей каше!" Жуйович, лишенный тщеславия, был скорее эпического склада и не понимал, или не хотел понять Тито: Тито любил бойцов и заботился о них, но он любил своего коня и заботился также и о нем.

В саду своей виллы Тито выстроил и здание для хранения подарков, которых накапливалось все больше и больше - это послужило началом для создания Музея 25 мая. Два года тому назад началось, с ногам Тито были положены на одобрение новые чертежи. Существует ошибочное мнение, что большая часть прославлений навязаны Тито. Много, конечно, сделано и без его ведома, однако наиболее значительное, то, что задумано на долгие времена - все это выполнено по договоренности с ним или по его подсказке. Его именем спекулируют: города, фабрики и улицы, носящие его имя. Трудно найти местечко, которое не кичилось бы его именем! Дороги, по которым он проходил во время войны, места, где он побывал, провозглашаются своего рода святилищами.

Уход за ними и паломничество к ним, само собой разумеется, оплачивает государство.

В личности Тито как бы нет ничего законченного, неизменного – все в нем как бы условно, непостоянно и переменчиво. Так, о Тито можно было со спокойной душой сказать, что он весьма лоялен по отношению к товарищам, что он не лукав, не вероломен, не интриган. Но это утверждение верно до определенной границы – пока не начнутся политические расхождения и конфликты. Тогда у Тито обнаруживались и другие, затаенные качества. При неожиданном проявлении враждебности или "враждебности" Тито реагировал дико и немотивированно. В таких случаях – принимая во внимание абсолютную власть, которой он располагал – Тито мог совершать опасные и непоправимые поступки. Но это бывало не так уж часто – в политике лишь немного случается быстро и неожиданно. После первой бурной реакции Тито начинал раздумывать, отмерять, и выбирать более разумные и эффективные средства. Когда уже в 1946 году в ЦК наметилось расхождение с Хебрангом и Жуйовичем, Тито, в узком кругу, прошипел: "Красиво бы выглядела Югославия, которой бы они руководили! Один – усташа (Хебранг – хорват. – *М. Дж.*), другой – четник\* (Жуйович – серб. – *М. Дж.*)!" Но когда ответом ему было наше ледяное молчание – потому что и Хебранг и Жуйович были старыми коммунистами – Тито умолк и никогда больше не говорил о них что-либо подобное. Бывало, что Тито реагировал так и в личных конфликтах. Он всячески старался в марте 1943 года, как раз через меня, спасти путем обмена свою, уже тогда бывшую, жену Херту из немецкого лагеря. Но сразу после войны, услышав, что она, оставленная и озлобленная, распространяет по Белграду про него какие-то слухи, он воскликнул: "Фольксдойчиха!". Родители Херты были австрийцы, немецкое же меньшинство ("фольксдойче"\*) в Югославии, как "неизлечимые нацисты", было объявлено

вне закона. Естественно, что и в этом случае его замечание было встречено неодобрением, он умолк и пришел в себя.

Однако эти два случая – один партийно-политический, второй – частный – характерны для реакции Тито на неожиданные и опасные явления. Он переводит все в политическую плоскость, даже если дело не политическое, навешивает ярлыки, квалифицирует несогласие с ним как крайнюю, доказанную враждебность – даже если это звучит неубедительно. Конечно, этим методам он обучился в Советском Союзе, однако он носил их и в себе самом – это отвечало его вспыльчивой и властолюбивой натуре.

А если Тито в ком-то начинал сомневаться, или замечал, что кто-то впадает в "уклон", он в своем кругу начинал издали, примерно так: "Что это с ним? Странные какие-то понятия! И отчуждается в последнее время! Вы что-нибудь заметили? Ей-Богу, это неслучайно..."

Со временем, после разрушительного и отрезвляющего конфликта со Сталиным в 1948 году, Тито стал более умеренным и понял, что политические разрывы неминуемы и в монолитном движении, и между друзьями. Но в нем навсегда осталось, всегда тлело желание очернить инакомыслящего и обострить конфликт – в противном случае он не настаивал бы до конца на монолитности и на абсолютной личной власти.

Лукавство Тито проявлялось, главным образом, по политической необходимости, а не исходило из свойств его характера: каждый, кто знал Тито, мог определить, когда Тито говорил искренне, а когда притворялся. Это было видно и по его лицу – если он притворялся, оно вдруг смягчалось, подрагивало, приторно улыбалось. Притворство ощущалось и в его голосе: он становился напряженным и более звонким.

Тито дважды подавал в отставку – один раз по настоящему, второй – неискренне. Первый раз, в декабре 1941 года, в селе Дренова, после поражения

и распада во время Первого наступления. Тогда он без чьего-либо влияния, измученный неудачами, а еще больше ответственностью, подал в отставку с поста секретаря партии в присутствии членов Политбюро. Так это осталось в моей памяти. По утверждению другого члена Политбюро, он просил освободить его от должности верховного командующего. В другой раз он намекнул на возможность своего ухода в отставку с поста председателя правительства в связи с ухудшением отношений с советским правительством (согласно отчету Карделя-Джиласа о переговорах в Москве) на заседании Политбюро, состоявшемся в марте 1948 года. И для меня, и для других товарищей было очевидно, что Тито тогда испытывал: как кто будет реагировать. Кстати - все, вполне искренне, наперебой высказывались против такого шага. Только Жуйович глубокомысленно молчал - а он как раз и был под подозрением.

Тито прекрасно понимал, что для политики необходимо лукавство. Его хитрость заключалась не столько в обмане противника, сколько в разгадывании его намерений и в принятии противомера. Для иллюстрации расскажу о двух случаях, которые, к тому же, еще нигде не отмечены. Летом 1948 года, в напряженной обстановке, когда мы не знали, какие планы против нас у советского правительства, я нехотя вовлек Тито в гадания и комбинирования. Это было где-то на море, в Сплите, и сейчас я не могу вспомнить, в связи с чем я туда отправился. Тито, увлекшись, воскликнул: "Да ведь не допустят американцы - ведь они еще не сошли с ума! - чтобы в данной обстановке русские вышли на Адриатику!" Тито, насколько я знаю - и я уверен, что это именно так - не вел переговоров с американцами в начале конфликта с Советским Союзом. Но он учитывал, вносил американский фактор в распря с Советским Союзом - хотя отношения с США были весьма натянутыми: еще не были забыты сбитые американские самолеты, а об-

винения в том, что мы подстрекали гражданскую войну в Греции, были все более резкими и более правдоподобными. Я почувствовал бы себя неискренним, если бы к сказанному не прибавил: несмотря на всю идеологическую непримиримость к капитализму и Союзом Штатам, меня обрадовал такой вывод Тито.

Во время корейской войны - где-то в 1951 году - разразился еще один кризис, кажется, вокруг Берлина. Москва, а за ней остальные, неожиданно и необъяснимо смягчили кампанию против Югославии, а против США и против Западной Европы, наоборот, обострили. В те годы в кругах вокруг Тито обсуждались и предвиделись разные возможности - даже вхождение в Атлантический договор, если бы на нас напали с Востока. Кардель, Ранкович и я были по какому-то делу у Тито на Ужицкой улице, и в конце концов разговор зашел об упомянутой кампании. Говорилось о том, что Советский Союз мог напасть на Европу, а нас оставить напоследок - как уже готовую закуску. Уже поднимаясь по ступенькам в спальню, Тито обернулся: "Знаете, я об этом много думал. Мне даже приходило в голову, что нам следовало бы - если бы началось что-нибудь подобное - вызвать инцидент..." И тут, а может быть во время другого такого же разговора, Тито произнес народную поговорку: "Политика - большая б..."

О Тито установилось мнение - даже и у тех, кто его отнюдь не обожает - что он много и упорно трудился. Этого о нем нельзя сказать. Кардель - упорный работник, хотя и не такой, как Ранкович и Кидрич. Но нечестно и неверно было бы сказать, что Тито ленив или нерадив. Работал он добросовестно и аккуратно. Он никогда не пропускал и не забывал что-либо важное, хотя и был перегружен должностями - особенно вначале, когда он хотел быть "ближе к народу" и читал даже жалобы и прошения!

И работа и жизнь у него были организованы и распределены. Он вставал рано и уже около восьми

часов, если не раньше, был за рабочим столом в своем кабинете. Приемы у него были главным образом до обеда. Обедал и ужинал он всегда в определенное время, после обеда час гулял – и опять за стол, просамтривать отчеты и всяческие предложения и проекты. Вечером, после ужина – обязательно фильм, любой, если не было хорошего. Около одиннадцати вечера он был уже в кровати, и перед сном читал, чаще всего сообщения пресс-агенств. Этот распорядок не менялся даже во время его путешествий. Только в крайних случаях, и то только в первые годы после войны, он нарушал его для каких-нибудь заседаний или ради игры на бильярде. Вначале он хотел прослыть за "сотоварища" и, бывало, за бильярдом встречал рассвет. Но постепенно он от этого отказался, а у остальных это ушло одновременно с ослаблением дружбы, с уходом в семейную жизнь и в ответственную работу.

Аккуратность Тито, его любовь к порядку отражались и в его одежде, и в еде. При всех обстоятельствах он был одет с иголочки – в самую модную и новую одежду. Нигде ни одной складочки, ни одного пятнышка. Во время войны он также тщательно следил за своей одеждой и за своим внешним видом. Такое "модничанье" и частая смена одежды, особенно одежды форменной, способствовали – уже и до войны – созданию впечатления о нем как о выскочке. Однако и другое впечатление – как о человеке, который знает себе цену.

Тито был умерен и аккуратен и в еде, и в питье. Больше в питье, чем в еде: ел хорошо, но не объедался. Крепкие напитки – стопку, редко две, да и то с мороза или от усталости. За обедом – бокал другой вина, разбавленного водой. Я слышал, что в последние годы он пил виски, причем в больших количествах. Не верю я в это – не верю, что он выходил из-под самоконтроля и пил больше, чем допускали его врачи.

Он любил изделия из теста, копченое мясо, а в особенности колбасы и сытные супы – зимние блюда его родины и скудного детства...

В январе 1941 года я ехал с ним – он тогда уже приобрел автомобиль и имел личного шофера, члена партии – из Любляны в Загреб. Проезжая через его родные места, мы заехали к его родственникам – пожилой паре: он заплатил им, чтобы они откормили ему двух поросят, и теперь осведомлялся о мясе. Колбасы были отличные, хотя их надо было еще вялить...

Чистота и порядок царили повсюду, где он находился. Этого требовали и престиж, и дипломатический протокол. Если бы он был неряшлив или вел беспорядочную жизнь – и престиж, и протокол нарушились бы.

И персонал вокруг него был чистым и аккуратным – горничные в белом, официанты в смокингах. В лесу, на охоте персонал прислуживал точно также, как в Белом дворце. И – никакой фамильярности между Тито и персоналом. С персоналом, который участвовал в войне или служил с самого начала (например, официант Буяс) – отношения серьезные, даже товарищеские, но никакой близости, все – на дистанции.

При порядке и аккуратности, Тито было легче размышлять во время прогулок; но также и во время просмотра бумаг.

Размышления были привычкой и потребностью Тито. Как я уже сказал, чаще всего он размышлял, прогуливаясь. У него была привычка: в особенно трудной и напряженной обстановке он начинал ходить, заложив руки за спину. В такие моменты он раздражался сердитыми репликами или недоуменными вопросами – обращаясь больше к самому себе, чем к присутствующим.

О чем думал Тито? Как и любой человек, о том, что его гнетет. Но, по-моему, чаще всего он размыш-

лял над конкретными проблемами - анализировал их спонтанно, как бы нехотя.

Размышления, долгие и приходящие сами собой, всегда были неизменным прологом к его решениям: размышления были для Тито работой, тонкой и необходимой. Тито было легче в чем-то убедить, чем в чем-то разуверить после того, как он уже вбил себе это в голову. Только факты, неопровержимо раскрывающие нечто целое, отличающееся от того, что виделось ему, могли его разуверить и заставить переменить мнение.

В дискуссиях он проявлял нетерпимость - во время коллективных встреч более остро и в более неприятной форме, чем во время разговоров с глазу на глаз: во время встречи с одним человеком создавалась более интимная, а тем самым и более терпимая атмосфера.

Деловые разговоры с Тито бывали весьма краткими: он был весь в конкретном и был большим, упрямым и последовательным противником многословия.

Твердость позиций и нетерпимость в дискуссиях проистекали, без сомнения, из его авторитарного и авторитарного характера, но также и из содержательности и эффективности метода его работы. Ранкович тоже отличался конкретностью, но и терпением. Кардель был терпеливым и рассудительным, но менее содержательным, менее четким.

Упомянутые твердость и нетерпимость не мешали Тито. Наоборот, это были составные части его стиля: он был гибким, немелочным и сдержанным руководителем. Мелочность и несдержанность проявлял он лишь в тех случаях, когда дело касалось его престижа, потому что этот вопрос имел для него такое же значение, как и любой другой вопрос государственного масштаба. Тито телефонировал редко - когда ему казалось, что происходит отклонение от генеральной линии, или что допущена серьезная ошибка. Бывало, что он месяцами не вызывал меня в свя-

зи с моей работой, или что я по несколько месяцев не просил у него приема. Между тем, мы продолжали у него встречаться, но он на этих встречах не придирался к мелочам, не читал нотаций. Это развязывало личную инициативу, увеличивало независимость - функционеры чувствовали себя больше сотрудниками, чем служащими. Ощущение униженности и обиды появлялось у них чаще всего в связи с "королевским" авторитарным поведением Тито и его авторитарными привилегиями.

Я никогда не мог объяснить себе причин склонности Тито к вымыслам о своей личности - к "автомифомании". Объяснение, что это проистекает только из его жадности к славе и власти, казалось мне недостаточным. Да, без сомнения, Тито не мог не избирать себя, свои приключения как необычные, и даже их выдумывать задним числом: это подчеркивало его исключительность, напоминало о том, какая громадная беда произошла бы, если бы с ним что-то случилось - а она ведь тогда-то почти произошла! Потому что почти всегда его рассказы касались опасности, которой удалось избежать, судьбы, которая была к нему столь благосклонна.

Объяснить все это жаждой славы, повторяю, было бы недостаточно - потому что эта "автомифомания" Тито была наивной, а иногда по-детски фантастической. И она редко, очень редко шла на пользу его престижу и мощи, о сохранении которых он заботился так упрямо и последовательно.

Это могло быть, в первую очередь, полусознательное или подсознательное стремление Тито увидеть - и показать - свою собственную личность, свою миссию, как выражение воли и игры высших сил. Потому что он никогда не говорил стопроцентную неправду, его выдумки всегда были связаны с чем-то конкретным - с предметом, с личностью, с реальным происшествием. Но всегда это был необыкновенный случай, невероятное событие, происшедшее вследст-

вии и во время его политической активности, которая и сама по себе никак не случайна.

В 1946 году русские врачи оперировали Тито грыжу, и впоследствии - естественно после ссоры с Советским Союзом, через год или два - он рассказывал, что после операции русский хирург в пьяном виде давил руками на его повязку. А через несколько лет после этого он упомянул, что перстень, который он носит, спас ему жизнь. Каким образом перстень может спасти жизнь? А это и не тот "спасительный" перстень, о котором он думает. Тот перстень, который он приобрел в Советском Союзе, на "черный день", спал у него с похудевшей руки во время Пятого наступления. А перстень, о котором он говорит, который он носит на руке - этот перстень достало ему, по его требованию, советское правительство во время его поездки в Москву в марте 1945 года. С тех пор Тито не приходилось бывать в смертельной опасности, особенно в такой, из которой выручал бы лишь волшебный перстень.

Во время Пятого наступления его "спасла" от немецкой бомбы собака (специалистка по баллистике?!). Его, Тито, - так он рассказывал впоследствии - уже взял на мушку четник Родич во время отступления после немецкого десанта на Дрвар 25 мая 1944 года. Откуда Тито мог это знать? Вероятно, он слышал, что где-то там тогда бродил четник Родич. Но откуда в таком случае Родич знал, что это был именно Тито? Необъяснимо. Но вот ведь какой случай... и риск, страшный риск! И так далее, и тому подобное. "Автомифоманию" Тито все - кроме самых слепых подхалимов - принимали за фантазию и внутреннюю игру. Все, кроме Тито: некоторые мифы о самом себе он помнил и повторял, что они стали составной частью его "Я" и его жизни.

Более понятна - хотя тоже не совсем! - страсть Тито первым оглашать важные и интересные новости: желание выделиться, похвастать, что он знает то,

чего не знают другие. Во время официального визита в Польшу весной 1946 года Тито получил телеграмму от Ранковича, в которой сообщалось, что захвачен Дража Михайлович. С примечанием, что это еще не следовало бы объявлять - без сомнения, чтобы не скрылись соучастники, чтобы не помешать дальнейшим акциям. Я сопровождал Тито во время этого визита. Телеграмма Ранковича вызвала двойную радость: осиноый кол в движение четников, конец героической легенды о Михайловиче, которую западная пропаганда подогревала уже с начала войны. Однако Тито не смог удержаться: на пресс-конференции он с наигранной таинственностью сообщил эту новость.

За два дня до заседания ЦК 12 апреля 1948 года, на котором был принят ответ на письмо советского ЦК, содержащее множество нападок на югославскую партию, я - возвращаясь в канцелярию из-за какого-то промежуточного дела - проехал возле тогдашнего советского посольства недалеко от площади Славия. Перед посольством стоял автомобиль Жуйовича, а возле автомобиля - его усатый сопровождающий. Он то как раз и бросился мне в глаза. Я сказал шоферу, чтобы он повернул и еще раз проехал там, - чтобы проверить свое наблюдение. Жуйович уже был под "подозрением" из-за своей просоветской ориентации, но наблюдения за ним еще не велось. В тот же день Кардель, Ранкович и я были у Тито в связи с предстоящим заседанием ЦК, и я рассказал, где и когда видел Жуйовича. Нам стало ясно то, во что нам до тех пор не очень хотелось верить, а именно, что у Жуйовича "шашни" с советским послом Лаврентьевым.

На заседании ЦК, во время резких препирательств, которые вызвало выступление Жуйовича в пользу советского ЦК и его "критика", Тито не удержался, чтобы не спросить со значительным видом и таинственностью в голосе: "А что ты, Черный, делал позавчера у советского посла?" Жуйович

не смог скрыть удивления, хотя и без заминки ответил: "А мы договаривались, как достать ему машину..." Тут уже и я не смог удержаться: "Югославский министр на побегушках у советского посла! Машину, видите ли, ему достает!"

Это титовское "забегание вперед", эта поспешность, с которой он объявлял то, что было до того момента никому неизвестно, находилось под секретом, кажутся мне видоизмененной, усложненной "автомифоманией". Здесь уже четко проглядывает и политическая цель - показать себя всеведущим, а тем самым и сильным.

Связано ли с этим религиозное ощущение Тито? И было ли у него это ощущение, или это было только тайное и искаженное стремление добиться в истории места получше?

Как коммунист Тито был атеистом. Но не совсем таким, как каждый коммунист. Атеизм Тито никогда не был воинствующим - никогда он у него не проявлялся ни в виде страстного или продуманного убеждения, ни в виде готовности к борьбе. Атеизм для него - одна из составных частей идеологии. Когда Тито случалось действовать в качестве атеиста - он никогда не шел дальше создания таких отношений с Церковью, при которых государство играло бы первую роль или по крайней мере не терпело бы ущерб и не подвергалось бы опасности. Ни в какого определенного Бога или в учения определенной религии Тито не верил.

И есть ли вообще основание говорить о религиозных ощущениях Тито?

Если под этим подразумевать то более слабое, то более сильное ощущение греховности, интенсивность которого колеблется в зависимости от политических нужд и оценок, то для меня в этом не может быть никакого сомнения. И не только ощущение греха, но и колебания, помыслы - в минуты раздумий о трагичности человеческой судьбы. Тито не соглашался

подписывать смертные приговоры - в югославской конституции и законодательстве эта обязанность переложена, по особому его желанию, на другие органы власти, хотя по обычным конституционным правилам должна была бы лежать на нем, как на главе государства. Кинозвезда Элизабет Тейлор была в восторге от Тито - несомненно на основании того, что слышала от него самого, или от его окружения, - а также потому, что он не подписал ни одного смертного приговора. Вероятно - если понимать буквально - это соответствует действительности. Для Тито его подпись, а в особенности под смертным приговором, обладала как бы мистической силой. А тут получалось так, как будто ничего не произошло, и уж во всяком случае на нем как бы не оставалось никакой ответственности.

Излишне было бы перечислять его приказы и решения, повлекшие за собой убийство и гибель людей - их немало, и их не могло не быть во время тех событий и в том движении, в котором он участвовал и которое защищал. Но это было для Тито частью политики - то, что надо выполнить ради конкретной цели или замысла. Он - насколько это допускала обстановка - старался не брать на себя ответственность за смерть определенного, имярек, человека. Думаю, что это и меня сохранило во время длительного конфликта, принимавшего иногда безумные формы. Впрочем, тут Тито не был одинок, хотя и играл главную роль - как во всем. Ранкович меня тоже защищал, среди прочего, вероятно, и потому, что мы когда-то дружили. Из достоверного источника мне известно, что из "аппарата", то есть из тайной полиции, поступали предложения разрешить "дело Джиласа" физически. Однако Ранкович на это предложение не ответил, а может быть и не обратил на него внимания. Хранили и уберегли меня и многие другие факторы: внимание ко мне западной общественности, опасение потерять престиж, но в первую очередь -

перемены, происшедшие в сознании после ссоры с Советским Союзом и разоблачение сталинских чисток. С. Сульцбергер из "Нью-Йорк таймса" рассказывал мне, что Тито не разрешил ему посетить меня в тюрьме, сказав при этом: "За такие вещи (которые я делал - М. Дж.) в Советском Союзе расстреливают!"

Политические задачи, текущие неотложные дела вытесняли, подавляли "чувство вечного", религиозное чувство Тито. Но оно снова оживало, неудовлетворенное, недовольное зыбкой реальностью... В синем титовском поезде, в котором в апреле 1953 года перевозили труп Кидрича, завязалась беседа о смерти и о том, что ничто не вечно. Это была первая смерть одного из вождей в мирное время, и как таковая - непонятная, потрясая всех. А разговоры на метафизические темы помогали уйти от давящих мыслей. Я стал говорить, что в мире нет ничего, кроме неуничтожаемой и неизменяющейся материи, но Тито прервал меня: "Давай, не будем сейчас об этом... - И прибавил с упреком, но улыбаясь. - Кто это знает, кто знает об этом?"

Потому что - хотя Тито монолитная личность - власть и борьба, воинствующая власть заполняли его полностью. Но в нем ощущалось и унаследованное, и неконвенциональное идеологическое мышление. Ради интереса упомяну кое-что. О старой Австро-Венгрии он не раз говорил: "Хорошее, налаженное было государство". О короле Черногорском Николе - на мое замечание об опереточном и деспотическом характере позднего периода его правления - Тито сказал: "Ах, нет, нам, молодым, он был симпатичен: храбрый, патриот, югославского направления". Тито верил, что все народы Югославии сольются в одну нацию. На мое замечание, что так думал и король Александр Карагеоргиевич, он возразил: "Да, но тогда не было социализма!"

Тогда же, в поезде, в котором перевозили тело Кадрича, зашел разговор о движущих силах истории.

На мою попытку изложить менее вульгарно марксистское учение о том, что главную и решающую роль играют идеи и массы, народ, Тито отмахнулся: "Ну, вот еще! Часто весь ход истории зависит от одной личности". Мне было ясно, что при этом Тито думает о себе.

Политик, политический вождь интерпретирует доктрины на свой лад - в соответствии с пониманием самого себя и своей роли.

## 11. ВЫХОДА НЕТ -

### СЛАВА И СЧАСТЬЕ НЕВОЗМОЖНЫ ОДНОВРЕМЕННО

Тито настоятельно хотел отделить свою частную жизнь от своей общественной деятельности. Но это удавалось ему только отчасти - потому, что он присвоил себе абсолютную власть. Абсолютная власть подминает под себя также и частную жизнь абсолютного властителя.

Желание Тито отделить, защитить свою частную жизнь исходит из его европейского индивидуалистического наследства, которое не смогли уничтожить ни идеология ленинизма, ни ее формы. Корни этого желания - в присущем каждому человеческому существу стремлении к личной жизни, к счастью, и желание это как раз у таких необузданно активных людей, как Тито - выражается тоже необузданно.

Но был ли Тито счастлив?

Неверно поставленный вопрос! Что такое счастье, в особенности счастье политика, для которого власть - наивысшая, а может быть и единственная цель? И еще шире: может ли любой строитель, именно в силу того, что он строит - или воображает, что строит! - свой мир, мир, который будет после него, может ли он не оставить после себя пустошь, не уничтожить вокруг себя все то, что он должен был бы любить?

Вовсе неслучайно разрушил Сталин свою собственную семью - подчинив все, в том числе и все свое, бешеной борьбе за абсолютную власть. А Тито хорошо понял - яснее всего из схватки со Сталиным - что все абсолютные властители, все "непогрешимые" вожди и учителя существуют не дольше, чем их власть. Как, говоря о Сталине, заметила Надежда Мандельштам: "Тиран бессмертен, пока жив".

Тито внутренне утешал себя: отсталость и раздор в стране, опасность извне, догматическая партия и недемократический аппарат, на который она опирается... Но если все это в конце концов привело бы Югославию к благосостоянию и независимости, то его абсолютная власть была бы оправдана.

После конфликта с Советским Союзом Тито свою личную власть узаконивает, а тем самым и смягчает. Это соответствует его харизматической миссии - он вышел непосредственно из народной беды, из бунта - и его стремлению к оригинальности, его упоению королевской властью. Власть Тито ближе к западному абсолютизму, чем к восточному деспотизму.

Я уже отмечал: Тито не разрушил, а лишь приглушил, прикрыл источники народов Югославии - в особенности идеологические и социальные. И свою семью он тоже не уничтожил. Наоборот, его родня и родня его братьев умножилась. Но его устремленность к абсолютизму, его зависимость от революционного движения и его подчиненность функциям абсолютной власти не дали и ему возможность слиться с самыми близкими, погрузиться в спокойствие и лишенное условностей блаженство.

Тито женился четыре раза. С первой и с последней женами он венчался, со второй и третьей жил в неоформленном браке. Эти четыре женщины играли значительные и разные роли в его жизни, но ни одна - я уверен, что и первая, хотя о ней мало знаю - не оказала серьезного влияния на его личность, а в особенности на его решения.

Свою первую жену, как я уже упомянул, он встретил в Сибири, будучи пленным австрийским унтер-офицером, в 1917 или 1918 году. Пелагее Белоусовой – я так слышал – было тогда 16 лет, она была на 12 лет моложе Броза. И была, говорят, красивой. Не случайно все жены Тито красивы и всё моложе и моложе по отношению к нему.

Когда в сентябре 1920 года Йосип Броз вернулся из России, с ним была и его молодая и красивая русская жена. Она тоже была коммунисткой, хотя о ее активности в Югославии ничего не сообщалось. У них было трое детей, в живых остался только сын Жарко. Однако об отношениях супругов ничего не известно – это и не случайно, потому что для Тито упоминания об этой связи были крайне неприятны и болезненны – он как бы хотел вычеркнуть ее из своей жизни и из памяти. Согласно биографиям Тито, они какое-то время жили и врозь, но причиной этому могли быть и нелегальные партийные дела, или непостоянная работа.

Так или иначе, но до разрыва дошло после ареста Тито в 1928 году. Белоусова тогда вернулась с сыном в Советский Союз – так поступали и другие в случае ареста главы семьи. Пока ее муж был на каторге, она там снова вышла замуж, а сына отдала в детдом. Частично из-за своего беспокойного темперамента, а частично из-за советских "педагогических поэм" мальчик отбился от рук и от школы, и начал бродяжничать.

Когда Тито после выхода из тюрьмы – вероятно в январе 1935 года – приехал в Москву, он должен был позаботиться и о сыне. Однако партийные дела не дали ему возможности в полную меру заняться запущенным мальчиком, а уже в середине 1936 года Тито должен был вернуться на партийную работу в Париж и в Югославию.

Встречался ли Тито в Москве с Пелагеей? Если и встречался, то никакого возобновления близости

между ними не было. Чистки и ее не пощадили: из лагеря ей было суждено выйти только после смерти Сталина. Тито хорошо знал Пелагею и знал, какой она "враг", но он "примирился" с ее "виной" и страданиями твердо и бесповоротно, тем более, что изменив ему в то время, как он страдал в темнице за революцию, она нанесла тяжелое оскорбление его мужскому самолюбию. А то, что запустила сына, еще более "оправдывало" его гнев и горе... Никогда Тито не вспоминал об этой своей супруге. Однажды, еще до войны, Кардель предупредил меня, чтобы я о ней не расспрашивал, что Тито это больно и неприятно. Но зато сына Жарко Тито вспоминал с нежной гордостью, а во время войны с болью – когда ему сообщили, что тот лишился руки в боях под Москвой.

Однажды мне пришлось встретиться с просоветским эмигрантом, который был в Москве и виделся с бывшей женой Тито, после того, как она вышла из лагеря. Тито во время своих поездок в Советский Союз с ней не встречался, она же хотела видеть только сына и внуков: перед страстями и революциями, даже если они действуют отдельно, не может устоять ничья и никакая связь.

Вторая жена Тито – Херта Хасс, студентка из Марибора. С ней Тито познакомился на нелегальной работе весной 1937 года. Мягкая, теплых, белесоватого и миндального оттенков, Херта излучала и внутреннюю теплоту. Она была предана Тито. Функционеры из Словении, которые ее лучше знали, считали ее "мещанкой", вероятно потому, что она не уживалась в партийных коллективах, аккуратно одевалась и изысканно выражалась. Но она была прилежным и сознательным партийцем. После войны она вышла замуж, родила двух дочерей и сейчас живет в Белграде. Лет пять-шесть тому назад я ее встречал, моя жена встречала ее чаще. Встречи были сердечными. Когда заходит речь о Тито, то – несмотря на приглушенное недовольство им – она никогда не забывает, что

он отец ее сына, всегда держит себя в руках и не говорит о нем ни одного дурного слова. Но я слышал, что она отказалась принять орден — не знаю, то ли в связи со своим шестидесятилетием, то ли по поводу какого-то другого юбилея — жест необыкновенный, упрямый.

До разлада между Тито и Херттой дошло весной 1941 года. Херта поправлялась после родов и заботилась об их сыне Александре-Мише. В это время из Белграда была командирована на нелегальные курсы радиотелеграфистов студентка Даворянка Паунович, известная в войну под кличкой "Зденка" — вероятно сам Тито подсказал ей это типичное хорватское имя для псевдонима. У Даворянки в Белграде был парень, студент-коммунист, впоследствии крупный военный и партийный деятель. Курсы радиотелеграфистов в Загребе проходили, разумеется, на нелегальной квартире; туда навещался и Тито. Там он и Зденка сблизились, а когда после оккупации немцами Югославии Тито и Политбюро вернулись в Белград, Зденка уже его не покидала. Они вместе провели всю войну — Зденка вела у Тито и секретарскую работу, хотя не отличалась ни большой методичностью, ни прилежностью. Ни храбростью — была она слишком нервной и склонной к панике.

Ее красота бросалась в глаза — даже лихорадочное беспокойство на ее лице и в движениях подчеркивали ее красоту. Стройная, ладная, с кожей оливкового оттенка, с крупными зубами и большими глазами со странным зеленоватым отливом. Похожа она была на румынских красавиц, а поскольку и происходила она из края с румынским меньшинством, то может быть в ее роду и произошла какая-то смесь с этим древним народом, жившим там еще до славян.

Когда Тито весной 1941 года появился со Зденкой в Белграде, в партии, а в особенности в партийном Белграде, царили пуританские законы: менять партнера можно было, но до разрыва отношений

надо было сохранять верность и нельзя было легкомысленно пускаться в беспорядочные интимные сношения. Такой пуританизм являлся реакцией на "свободную любовь" прежних поколений. Но подлинной причиной и оправданием пуританизма было укрепление партийного братства и единства. Пуританизм, конечно, доводил и до абсурдов и до бессмыслицы: один товарищ покончил жизнь самоубийством, многие получили партийные взыскания, некоторые товарищи выходили из положения, входя в связь с "буржуйками" и "мещанками" — женщинам-членам партии нечто подобное не смело даже и в голову приходить.

Тито все это знал, даже не был против, хотя — в отличие от Ранковича и меня — он не был проповедником пуританизма. О его отношениях со Зденкой полагалось молчать — я же только во время войны, в 1942 году сообразил, какие это отношения. В этом было нечто противоречившее партийным нормам: признанной его женой была Херта, у них только что родился сын. Никто не оспаривал у Тито право взять другую, — однако выяснив сперва отношения с Херттой. Но никто ничего не говорил, по крайней мере открыто. Тито тоже. Пока война и жизнь не распутали и этот узел.

Если по Херте можно было догадаться, — больше всего по ее беспокойству о Тито, а не по отношению к окружающим, — что она жена генерального секретаря, то для Зденки связь с Тито была и бешеной борьбой за престиж, и постоянным страхом, что ее оттеснят. Причем во время войны, войны партизанской, в лесах и пещерах, в крестьянских лачугах и хижинах, часто без хлеба, чаще всего в нужде и смертельной тревоге! Но страх скорее разжигает, чем утихомиривает человеческие страсти и амбиции. Зденка находила предлог для ссоры — для крика и оскорбления окружающих, включая и Тито — и там, где никому в голову не пришло бы: то ей кто-то что-то неловко подал, то ее кто-то, проходя, за-

дел локтем или куда-то вошел раньше ее, то кто-то не спросил ее сперва, не спит ли Тито, то мясо было переварено или недожарено, то дым шел в ее направлении. Ее никто не любил - никто ее и не успевал полюбить, потому что она уже до этого всех умудрялась изругать. Мы думали, что она уже и Тито опротивела, но что он запутался и уже не может выйти из этого положения без опасения уронить свой престиж в партии - без того, чтобы "пуритане" не упрекнули его, что он меняет жен. Мы надеялись, что он вернется к Херте, хотя и это не было бы по "пуританским правилам", поскольку он уже решил жить со Зденкой.

Но мы ошиблись.

Херту с громадным трудом - с помощью немцев, в обмен на немецких пленных - вырвали из усташского лагеря. Измученную издевательствами и ожиданием смерти, но и полную радости и надежд после освобождения, я привез ее весной 1943 года из Сараева в Верховный штаб, расположенный в лесу... По дороге я ничего не говорил про Зденку, а сама она тоже, по-видимому, ничего о ней не знала. Радости и надежды Херты развеялись в тот же день: в разговоре с глазу на глаз Тито объяснил ей, что теперь его подруга - Зденка. Тито любил Зденку и поступил по правилам, которые тогда были в партии. Я помню, как Херта беззвучно заплакала у меня на плече: "Что же это такое, товарищ Джидо?" Она вынесла все самые большие невзгоды войны - во время Пятого наступления, при Верховном штабе, а летом 1943 года, снова вместе со мной, направилась из Боснии в Словению.

А у Зденки под конец войны открылся туберкулез - его скрытой, начальной стадией вероятно отчасти и объяснялись ее вспышки, страхи и странности. В конце войны ее направили лечиться в Советский Союз. После возвращения оттуда в Белый дво-

рец к Тито, она редко показывалась на людях, страдалчески улыбалась, как будто прося прощения.

Зденка умерла в 1946 году. Она потребовала, чтобы ее похоронили в саду Белого дворца - чтобы быть поближе к Тито. Тито был заметно подавлен, а когда я спросил Ранковича, что это происходит со Старым (Лола Рибар и я прозвали его так уже в 1937 году), он объяснил мне причину и таким образом я узнал, что Зденка скончалась... Ни один из руководящих товарищей не присутствовал на ее похоронах. Но не потому, что ее не любили более, чем она этого заслуживала, а просто Тито никому не сообщил о ее смерти. О ней осталось мало воспоминаний - никто о ней не говорит, как будто она и не была военной подругой Тито, его секретаршей. О ней избегают упоминать биографы Тито, избегают публиковать фотографии военного времени, на которых можно ее увидеть. Одна из улиц в ее родном Пожаревце носит имя Даворянки, но, без сомнения, это инициатива местных функционеров, а не Тито.

И от этого удара Тито оправился быстро.

Замечалась его склонность к Зинке Кунц, солистке нью-йоркской оперы, которая после войны вернулась в Югославию. Она изредка появлялась на концертах, главным образом благотворительных. Знаменитая и у нас, и за границей, с импозантной внешностью, тщательно следящая за своей красотой, блестящая и нарядная, она привлекала, совершавшего королевский взлет Тито, по-видимому скорее своей славой, чем величественной внешностью и неподражаемой чистотой голоса. Но Кунц не проявляла интереса к Тито, во всяком случае проявляла его не больше, чем любая светская дама к поклоннику высокого ранга. Кроме того, она как раз вторично вышла замуж - за югославского генерала Илича, очень интеллигентного человека, не приспособленца, революционера, прославившегося во время испанской гражданской войны, а затем во французском движении сопро-

тивления. Если бы Кунц даже захотела, ей не стало бы так быстро вступать в новую связь. Да и авторитету Тито повредило бы, если бы он "отбил" жену у своего генерала — даже если бы он не обратил внимание на презрение и нетерпимость, с которыми партийные матроны и девы на выданье встречали "чужих" жен, в особенности актрис.

Новая женщина, новая любовь могла появиться лишь в окружении Тито, хотя бы уже из-за того, что и передвижение Тито, и круг его друзей были ограничены, находились под непрерывным бдительным наблюдением охраны и служб — которые не только оберегли его жизнь и помогли ему в его возвышенном труде, но и видели в нем олицетворение партийного героизма и морали.

Этой женщиной была Йованка Будисавльевич, в обязанности которой входило ведение его дома и хозяйства. Она должна была заботиться обо всех бесконечных вещах, обо всех, непредугадываемых заранее мелочах, которые возникают и в гораздо более простых и скромных хозяйствах, чем было хозяйство Тито.

Йованка ежедневно, чаще всего и без нормированного рабочего времени, находилась непосредственно возле Тито. По своей должности она занималась его личным обеспечением, входила в его личную свиту.

Близость между Тито и Йованкой началась, скорее всего, уже в 1946 году. До этого, до Тито, у Йованки не было любовников. Ей в то время было 23 года (она родилась в 1923 году), а Тито 55 лет.

Йованку отметили сразу, как по внешности и поведению, так и потому, что она непременно присутствовала повсюду, где бы Тито не находился. На этот раз я был более проникателен, чем в случае Зденки: сообразил, что между Тито и Йованкой "что-то есть". Но я притворялся, что не совсем в этом

уверен. Коча Попович меня как-то в этом убеждал: "А почему бы и нет? Ведь это совершенно естественно!.."

Йованка была очень красива здоровой сербской красотой: очень светлая кожа, черные волосы. Без кокетливости, но не без женственности, женственности приглушенной, такой, какая бывает у монашек; или у крестьянок, полностью посвятивших себя мужу и детям. В офицерской форме, которую она всегда носила, поскольку все время и находилась на службе, она казалась высокой — на самом деле была не много выше среднего роста. В то время она была еще стройной, очень стройной, в плотно сидящей, перетянутой поясом форме. И уже в то время, под надетой набекрень "титовкой", бросались в глаза ее пышные шелковистые волосы — таких роскошных, красивых волос я никогда не видел. Загорелое лицо с нежным румянцем, большие темные глаза, излучающие терпение, внимание и преданность.

Йованку отправили на службу к Тито из воинской части — Шестой (ликской) дивизии. Происходила она из уважаемой сербской семьи. Окончила начальную школу, что тогда для крестьянского ребенка, в особенности девочки в бедной и забитой Лике, означало переход из среднего в более высокий слой. Кроме того, она помогала в гостинице, принадлежавшей ее родственнику, так что у нее была какая-то квалификация для работы в хозяйстве Тито. Однако самой высшей квалификацией было ее безупречное поведение как бойца и ее безоговорочная преданность партии и командованию: не только у Тито, но и у других высших партийных руководителей не мог служить никто с невыясненным прошлым, не проверенный всесторонне. И несмотря на это появлялись всякие сомнения и подозрения, но особого рода: что служба безопасности не случайно послала к Тито именно Йованку. Нашли и прислали честную и проверенную, а кроме всего прочего — красивую девушку

и поселили возле него. А там природа пусть делает свое дело. В шутку я как-то поддразнивал Ранковича — естественно, уже после того, как Тито женился на Йованке и в таких шутках уже нельзя было усмотреть ничего зазорного — что его удбисты устроили так, чтобы Йованка оказалась возле Тито. Он это отрицал, однако шутливо и неопределенно.

Но это были мучительные и удручающие отношения, в особенности для Йованки. Она нигде, никогда не появлялась частным порядком, не по службе, и всегда под присмотром личной охраны Тито. Во время заседаний у Тито мы часто видели ее, часами сидящую с охранниками где-нибудь в прихожей — пока он не отправится почивать. В таких условиях ревность и недоверие к ней обслуги были неизбежны: ее близость к Тито можно было объяснить на сто ладов — и все сто толковать ей во вред. Карьеризм, подхалимство, подлая женская безнравственность, злоупотребление одиночеством Тито, корыстолюбие... Случалось, что товарищи из охраны — по злобе или из подозрительности — заставляли ее первой пробовать блюда, которые она старательно и с любовью готовила для Тито.

И такие отношения длились годами — шесть долгих лет опасений, язвительности, зависти. Но молодая девушка терпеливо все переносила — по любви и из чувства долга. Тито был для нее партийным и военным божеством, для которого все должны были все жертвовать. Но она была вдобавок и женщиной, узнавшей Тито как мужчину, и любила его все сильнее и преданнее. Все эти годы она вела себя молчаливо, терпеливо, ненавязчиво — никогда никаких выпадов, никогда ни одного упрека или слишком громкого слова. Она готова была сгореть и завянуть, никем не признанная и никому неизвестная, рядом с божеством, о котором она мечтала как и многие другие и которому лишь могла принадлежать — раз уж это божество ее избрало.

Почему Тито настоял именно на таких отношениях между ними? Потому, что Йованка была необразованной крестьянкой и не была достаточно представительной? Или потому, что после трех неудачных браков он не верил больше в возможность брачного счастья? Или он хотел сохранить свободу и не связывать себя женщиной? Йованка, видно, послушно подчинялась его желаниям и намерениям. Не кроится ли уже в таком начале их отношений трагичность йованкиной судьбы и разрыва с Тито — разрыва необъяснимого и непонятного, на восемьдесят пятом году жизни Тито?

Перемена — обнародование их отношений — наступила неожиданно.

В конце марта или в начале апреля 1951 года у Тито был острый приступ. Врачи и руководящие партийцы примчались в его виллу на Ужицкую улицу. У Тито была больная печень — он должен был следить за своим питанием и отречься от любимых своих копчений. На этот раз врачи установили, что поражена и поджелудочная железа и что можно опасаться смертельного исхода. Из Любляны прилетел хирург Лаврич, а столовую виллы оборудовали под операционный зал. Каждый час у Тито брали кровь.

В спальню Тито вошли Ранкович и я. Где-то тут был и Кардель. Тито корчился в постели в судоргах, короткие стоны сменялись потерей дыхания. Я спросил его что-то лишнее и бессмысленное — как обычно бывает в такие моменты. С болью он ответил: "Не спрашивайте меня ничего! Это ужасно! Лучше — оставьте меня!"

На лестнице меня встретила Йованка — о ней в тот момент никто не думал, никто ее не замечал. Сдерживая всхлипывания, она воскликнула:

"Товарищ Джидо, что же будет?"

Это был первый случай, когда Йованка обратилась непосредственно к одному из членов Политбюро. И до этого, и после — пока я был в руководстве,

что было потом, мне неизвестно - она относилась к товарищам из руководства с уважением и скромностью. Мы уже имели сообщение от врачей и я ободрил Йованку. В тот же день, но несколько позже, после разговора с доктором Лавричем - он был уверен в себе и внушал и другим уверенность - я объяснил Йованке: "Болезнь под контролем: если бы она ухудшилась, его бы экстренно оперировали. Его и так будут оперировать - рисковать новым приступом нельзя. Подождут, когда окончится этот приступ, чтобы оперировать спокойно."

Так и было. Тито оперировали 19 апреля 1951 года на Бледи. В санатории, который немцы построили для своих раненых и который после войны забрал себе Тито.

Забота Йованки о Тито, необыкновенно бережная и тщательная, превратила связь между ними, известную до тех пор только лишь приближенным Тито, в явную и естественную. Вечером, перед операцией, мы засиделись после ужина - врачи и почти все Политбюро - в салоне. Сидел с нами и Тито, задумавшийся перед операцией, в теплой, неполитической атмосфере. Была тут и Йованка - впервые вознесенная вверх из своего ложного положения - тихая и немного смущенная. Была затронута тема о великих людях и их частной жизни. Доктор Лаврич заметил (имея в виду, вероятно, отношения между Тито и Йованкой): "Частная жизнь великих людей не имеет никакого значения для оценки их исторической роли". Я считал, что доктор Лаврич не совсем прав, однако ни я, ни другие ему не возражали: его замечание ободряюще и успокаивающе подействовало на Тито и Йованку, на их отношения.

На следующий день Тито оперировали - операция удалась и без советских врачей. Заботу и бдение над ним приняли на себя Йованка и... монашка, без которой доктор Лаврич, сам тоже член коммунисти-

ческой партии, отказывался оперировать коммунистического вождя.

В начале следующего, 1952 года Тито официально оформил свой брак с Йованкой. По этому поводу я сказал Тито: "Ты очень умно сделал, женившись на ней". А он: "Ну, да! И, знаешь - свой человек!"

В июне того же года женился и я на Штефице. И Тито спросил меня: "Откуда у тебя этот товарищ?" Я, смеясь, ответил: "Из Загорья. Знаешь, я постарался, чтобы с твоей родины". Тито тоже засмеялся: "Ни черта ты не старался, так я и поверил!"

Йованка открыто появилась в обществе впервые во время визита британского министра Идена. Она была взволнованна и испугана, как девушки-подростки из русских романов на первом балу. Жена французского посла Бодэ, обладавшая необыкновенным шармом и за словом в карман не лазившая, сказала мне на одном из приемов: "А у вас один медовый месяц за другим..."

Эти подробности не имели бы никакого значения, если бы не были характерны для происходивших изменений. После 1948 года наступили перемены не только в политических взглядах, но и в частной жизни представителей югославских верхов, и в их отношениях с представителями Запада. Я не уверен, что Тито женился бы на Йованке и что сам я загляделся бы на свою вторую жену, если не начались бы отступления от ленинских норм, если бы мы сами и наша частная жизнь не стали более свободными, менее партийными.

В то время Йованка и Штефица сблизилась и дружили: без этой дружбы и этот рассказ о Йованке был бы более скудным.

Йованка осталась неизвестной для широкой общественности. Широкая общественность знает ее по газетам, по телевизионным передачам, по парадам и торжествам, в соболях и бриллиантах. Это Йованка из диппротокола - всегда с "югоулыбкой", разряжен-

ная по обязанности так богато, так необыкновенно, что не только ни одной югославке, но и редко какой из королев может такое присниться. У той Йованки было всего чересчур — чересчур много смеха, чересчур много драгоценностей, чересчур много самодовольства, .. чересчур много от той Йованки, которая отвечала представлениям Тито о своем собственном престиже — о титовских формах власти. Йованка подчинялась этому: она была преданной супругой, а к тому же и ее увлекал этот блеск и она считала, что именно так и нужно. Такую Йованку общество, в особенности женское, ненавидело и оговаривало — не смотря на то, что за рассказ анекдотов о ней люди попадали на год, а то и на два на каторгу. Люди изливали на ней свое недовольство и зависть, и все то, что не решались излить на Тито. Она же, в своей преданности Тито и в своей простоте, давала достаточно поводов для всяких разговоров.

В то же время она не была ни глупой, ни злой. Она медленно думала, ее ум был не гибким, зато надежным. Она прошла курс гимназии, причем действительно прошла, а не была пропущена льстивыми и робкими преподавателями. Только в общественных местах она держалась неестественно, надуманно: она, очевидно, страдала больше от беспокойства, как она будет выглядеть, что о ней будут говорить, чем от своего деревенского прошлого: происхождение из трудового народа — идеологическое преимущество, хотя уже очень давно только формальное.

Пока я был одним из партийных руководителей, Йованка не вмешивалась даже в распри, а в принятие решений — и по давню. Ее "сектором" был дом и муж Йосип: при ней вокруг Тито воцарились настоящий порядок и добросовестность. Тито же, бывало, вел себя по отношению к ней и цинично, и грубо даже в присутствии других — Йованка терпеливо и смущенно молчала.

Сыновья Тито ее не любили и не обращали на нее внимания, хотя она и с ними не ссорилась. Но у них и с Тито отношения были не из лучших: старший, Жарко, бесился по-своему, а мальчик Миша был обижен. Йованка заботилась о двух своих младших сестрах, помогала им получить образование и выйти в люди, но не грабила для них, хотя и могла, если бы хотела.

Она мечтала иметь детей. Но Тито на это не соглашался — он считал, что ему не везет с детьми, а может не хотел себя ими утруждать. Йованка выдохла и сгорела рядом с Тито.

На высотах, на которые она попала без собственных усилий, и, вдобавок, безо всякой подготовки, у нее закружилась голова от славы и могущества. Она завела обширные знакомства с художниками, журналистами, подсказывала темы для кинокартин, конечно, о Тито, и даже о себе, своем партизанском отряде, как я читал и узнал из телевидения.

И все же я не верю, чтобы она задумала какую-то политическую акцию без его ведома. Я тщетно пытался убедить в этом и иностранных журналистов, после того как появились признаки расхождения Тито с Йованкой. Но журналисты предпочли поверить упорным слухам о йованкиных интригах с "сербскими" офицерами и генералами, о ее просоветских настроениях, о том, что она вмешивается в политику, назначает и сменяет самых высших функционеров. О том, что она возмущена тем, что не обращают должного внимания на ее бедную и разоренную Лику: "В ней заговорила сербская кровь", — можно было услышать и такое... Заговорила, я думаю, в Йованке оскорбленная, бесцельно принесенная в жертву личность. Скорее всего по какому-то банальному "человеческому" поводу: потеря веры в то, что стоило жертвовать молодостью и жизнью, потеря веры в идеологию, рассеявшиеся иллюзии и оголившееся божество разбудили в ней приглушенное и искалеченное са-

мосознание и достоинство. Помимо своей воли Йованка оказалась среди отверженных и попавших в беду — и сразу к ней начались проявляться симпатии. Со стороны всех, кроме камарильи, которая была обрдована ее исчезновению. В последние годы Тито явно избегал Белград, а в особенности Ужицкую улицу, чтобы — как говорилось — не встречаться с Йованкой.

Где она, чем занимается, как живет? Это тайна — как при феодальных дворах. Во время болезни у его постели очутились сыновья, которых он так редко видел и которые в его жизни и работе не принимали никакого участия.

Дойдя до апогея, перед смертью, Тито оказался в таком одиночестве, в каком еще никогда не бывал. Жарко и Миша. Жарко, который похож был на него и внешностью и темпераментом, который своей необузданностью доставил ему столько неприятностей, чтобы в конце концов смириться и найти смысл жизни в родительских обязанностях. Миша, углубленный в свою работу и свою среду. Жарко и Миша — зов крови, после всего, что было.

Слухи о том, что возле смертного одра Тито в конце концов оказалась и Йованка, ничем не подтвердились.

Тито умирает, подключенный к машинам, окруженный служащими, незнакомыми людьми, навязчивыми субъектами, вождями, которых он сам создал. Наиболее известные военные и партийные руководители поумирали, разогнаны или находятся в немилости — в в немилости без кавычек, именно так, как при дворах абсолютных властителей. Одиночество и неизвестность — знает ли он, догадывается ли, что под угрозой находится и все то, что он считает своим творением? Может быть он утешает себя: "Что-то от всего этого останется, Югославия и сегодня на мой день рождения проводит эстафету, носящую мое имя. Это дело и есть мое счастье." А может быть именно

в этом, в отождествлении самого себя со своим делом и заключен роковой просчет — и для себя, и для дела?

12. У КАЖДОГО "БОЖЕСТВА" СВОЙ "ДЕМОН" -  
У КАЖДОГО ДОГМАТА СВОИ ЕРЕТИКИ

"Ты - иной человек", - сказал мне Тито во время нашей последней встречи, на которой присутствовали Кардель и Ранкович, в начале января 1954 года в Белом дворце. О встрече с Тито я просил письменно, частично под влиянием своего окружения, частично по сентиментальности, а также пытаюсь произвести политические спекуляции - в которых я не оказался ни ловким, ни дальновидным. Встреча, на которую меня пригласил Тито, не была той, о которой я просил в письме. Это был пролог к осуждению (которое мне должно было быть вынесено через несколько дней на Третьем пленуме ЦК, на котором я получил распоряжение подать в отставку с должности председателя Союзной скупщины), а, кроме того, косвенные, но достаточно понятные угрозы, требования покориться "неизбежному" - и тому подобное.

"Ты - иной человек", - эти слова навсегда врезались мне в память, хотя я и сегодня их не понимаю до самого конца. Тито их произнес - если мне память не изменяет - после реплики Ранковича: "Я не считал правильным менять название партии на Союз коммунистов - однако я это принял!"; или после сердитого утверждения Карделя, что я впал в реформизм, причем в реформизм наихудшего качества, берн-

штейновский. Смысл фразы Тито, мне кажется, вот в чем: если я вобью себя что-либо в голову, то мне нелегко от этого отречься; или, что я не умею, а может быть и не способен приспособливаться и подчиняться.

Но что бы ни означали эти слова Тито - в них источник и в них разъяснение моего расхождения и конфликта с ним: и он, и я - личности настолько разные, что держать нас вместе могла только лишь общая идеология - до тех пор, пока мы оба входили в ее орбиту.

Известно, и об этом я немало писал в своих мемуарах, что между мною и Тито были трения на всех этапах, но никогда по важным политическим вопросам. Чаще всего это были несогласия на эмоциональной почве, по вопросам стиля. Однако до самого моего отлучения от власти я писал о Тито больше, чем кто бы то ни было - кроме Дедиера, опубликовавшего обширную биографию Тито. Я напомнил об этом Тито на упомянутой встрече: из сентиментальности, из желания смягчить конфликт, но и для того, чтобы подчеркнуть, что я не могу отречься от своего мнения. Хотя в те времена я и писал о Тито в духе "культы личности", однако по убеждению. В последние же годы - после ссоры с Советским Союзом - в своих статьях приписывал Тито демократические качества и демократические действия. Здесь уже надежда играла большую роль, чем внутреннее убеждение. Надежда и убеждение перемешивались между собой, и картина становилась неясной и переменчивой.

А искры между мною и Тито проскакивали скорее из-за разницы в стиле, в подходе и практическом исполнении, чем из-за разницы в характерах. Как Тито, так и я, бескомпромиссно, "по-абсолютистски" верен тому, что - в общем деле - считаю своим, именно своим. На последней встрече я сказал Тито: "Я тебя понимаю - ты что-то создал и бережешь это.

Так и я — я только начал и... Вот их двоих (Карделя и Ранковича — *М.Джс.*) я не понимаю!" Тито понимающе взглянул на меня, но только на мгновение, и тут же продолжил задуманную ранее расправу.

Мелкие ссоры между мной и Тито не оставляли следов именно потому, что не были политическими. Я Тито любил и ценил, чем дальше, тем больше. Не могу вспомнить ни одной, даже самой незначительной нелояльности, которую я допустил бы по отношению к нему. Если я когда-либо и подумал что-нибудь скверное, то сразу заглушал это в себе, отбрасывал как недостойное и принимался добросовестно выпонять порученное мне дело. И у него я никогда не замечал по отношению к себе вражды или коварства — до того самого момента, когда мы разошлись и столкнулись на политической почве. Последний, и единственный подлинно политический конфликт, ни с моей, ни с его стороны не был вызван личными причинами — разве лишь в той степени, в какой толкование разных идей нельзя отделить от образа мышления их носителей.

Корни конфликта, как я сказал, в личностях, в стилях. Идеи и дела Тито — в его личности. Они неотделимы от личных амбиций и внешнего престижа. Моя же личность — настолько, насколько я способен ею быть — в идее, в деле. Мои амбиции в этом, а к внешнему престижу я равнодушен (при условии, что он мне не мешает). До тех пор, пока я был уверен, что активность Тито крепит идею и дело — его стиль, авторитарный и своевластный, не приводил к конфликтам. Я, правда, этот стиль не одобрял: бывало, я упрямылся и брюзжал, но делал, "что мне сказано" и проводил политику партии.

Расхождение началось, поистине, вместе с победой, после прихода к власти. Сквозь муть и туман — просвет в сознании: "Это не то, чего мы хотели, но это начало будущего". И недовольство, непрекра-

щающееся, самим собой — своей работой, своими мыслями, перспективами на будущее.

Неясное ощущение недовольства то разгоралось, то затухало: я бы, вероятно, скорее всего занялся литературой и принял жизнь такой, какая она есть, если бы советская, сталинская гроза не подняла все на дыбы, и под румянами идей не обнаружилось бы чудовищные насилие и захватничество.

Если бы меня за полгода до начала конфликта кто-нибудь спросил — а такие вопросы задавались! — существует ли такая сила, которая могла бы разлучить меня с Тито, Карделем и Ранковичем, или с Союзом коммунистов, я ответил бы: "Нет такой силы!" Даже смерть этого не могла бы совершить: и в смерти мы были бы неразлучны, во всяком случае, что касается меня.

Но человек предполагает, а Бог располагает! — да будет дозволено и мне произнести эту набожную, мудрую пословицу.

Югославские вожди, в особенности Тито, почували, и понадеялись, что после смерти Сталина на советских верхах начнется борьба за власть, а одновременно с этим уменьшится и агрессивное давление на Югославию. Так оно и произошло. Тито почувал и сразу ухватился за возможность, которую предоставляло ему это уменьшение нажима: он приостановил демократизацию, особенно в идейной области, и тем самым снова полностью подчинил своей личной власти олигархов, особенно олигархов идеологических, как зачинателей и носителей "ересей". Решающим моментом был Второй пленум ЦК на Брионах летом 1953 года, на котором Тито приостановил борьбу "Против бюрократизма", то есть борьбу за демократические реформы. Обо всем этом уже было говорено. А я — когда еще до этого пленума Кардель, вернувшись с Брионских островов, сказал мне, что Тито ожидает перемен в отношениях с Советским Союзом — ощутил

сильное беспокойство, хотя и не мог еще объяснить себе, с чем именно я не согласен.

Но вплоть до глубокой осени 1953 года я не сознавал, до какой степени, невольно углубилось это несогласие. Я с лихорадочной плодовитостью продолжал публиковать реформистские идеи, с Брионских островов — от Тито и его людей — поступали замечания, в то время как Кардель держал себя осторожно и сдержанно, даже в личных отношениях.

Потому что до того момента — с конца 1949 года до лета 1953 — югославская партия, вернее ее верхи, были опьянены духовным освобождением от советских образцов и учений. Большинство партийных теоретиков — Кардель, Бакарич, Пияде, я и другие — не только критиковали советскую систему, но бросали критические взоры и на югославскую действительность. Это, без сомнения, был период интеллектуальной смелости и духовной свободы, которую Югославия, вернее югославское коммунистическое движение впоследствии уже не достигало.

Сама система власти — контроль тайной полиции, политическая монополия партии — разумеется значительных перемен не претерпевала, хотя были сильно ограничены самоволье и беззаконие и ослаблены доктринерские жестокость и нетерпимость. Все это я видел, хотя и переоценивал глубину и масштабы процесса демократизации. И я верил — больше, чем следовало — что хотя бы руководящие личности будут вести себя соответственно, раз они уже уяснили себе "несоциалистический" характер советской — а в меньшей степени и нашей, подражающей советской — системы.

Однако к этим взглядам я пришел не сразу и не без влияния той атмосферы, которая царила на самом верху. В создании этой атмосферы участвовал и Тито — осторожный и страхующийся, как всегда, когда речь шла о чем-то новом, в особенности о повороте в теоретической области. Единственным из вы-

дающихся руководителей, не "опьяневшим" от "демократизации", был Ранкович. Он проводил и принимал "демократизацию" не по убеждению, а в порядке партийной дисциплины. Тито как-то воскликнул (думаю, что это было в 1952 году) с таким видом, будто вспомнил о чем-то важном: "У нас не будет многопартийной системы, у нас будет многогрупповая система!" Этим словам, как и многому подобному, следует придавать значение только как иллюстрации к той атмосфере, тем размышлениям, которые были вызваны конфликтом с Советским Союзом.

Сам Тито в критике советской системы и в осознании нашего собственного "бюрократизма" пошел открыто дальше всего на Шестом съезде СКЮ осенью 1952 года (в семидесятые годы, во время "бюрократической реакции", то есть усиления, абсолютизации личной власти, он заявил, что не был согласен с решениями этого съезда!). Весной же 1953 года, под впечатлением бесед со шведскими и другими социалистами, бывших гостями на съезде Социалистического союза, Тито внушал мне: "Необходимо как можно скорее подготовить вхождение в Социалистический интернационал!" А что думали, что говорили в своем кругу партийные либералы вроде Бакарича и Карделя?..

Тито не было в Белграде, когда Политбюро, вернее Исполнительный комитет ЦК, в начале января 1954 года вынес решение разобрать "дело товарища Милована Джиласа" на текущем Третьем пленуме, назначенном на 18 января 1954 года. Более того, Исполнительный комитет даже не заседал; просто Кардель и Ранкович дали свою "консультацию", главным образом по телефону. Конечно, по инициативе, а вернее по приказу Тито. Мне же о созыве Пленума даже никто не сообщил — я об этом прочел в газетах.

Я тогда часто заходил к Карделю и Ранковичу. Заметил отчуждение — сперва у Ранковича. В то время я каждое воскресенье публиковал статьи в "Бор-

бе"; в них я критически касался вопросов, которые считал важными для демократизации, вернее - для югославского социализма. Эти статьи и были причиной созыва Третьего пленума и моего осуждения на нем. Однажды во второй половине дня в конце декабря 1953 года я пошел к Ранковичу. Мы были близки всегда - и в годы нелегальной работы, и в военное время, и в антисоветский период. И на этой встрече он вел себя по-дружески - даже хотел подарить мне охотничье ружье. Но разговор он прерывал многозначительными паузами, а от ружья, хотя оно мне нравилось, я отказался, думая про себя: "Не стоит брать, раз мы все равно расходимся". Дело в том, что на мой прямой вопрос, что он думает о моих статьях в "Борбе", он без обиняков ответил: "Я надеюсь, мне не придется ломать голову над философскими вывертами, но то, что ты пишешь - вредит партии".

Ранкович меня не удивил: и его взгляды, и его действия показывали, что он против идей, в особенности же против реформ, которые могли бы угрожать монолитности партии. На этой точке зрения он стоял твердо, но по отношению ко мне не был ни двуличным, ни нелояльным.

Встреча с Карделем меня удивила: я был уверен, что мы оба пропагандируем демократический курс. Впрочем, так оно и было, до тех пор, пока "дьявол не пришел за своим", пока он не сообразил, что Тито против. Тут он мгновенно преобразился и превратился в обвинителя, который сигнализирует Тито о приближающейся опасности и требует его вмешательства. А до этого Кардель в демократизации доктрины шел впереди меня - может быть не по стилю и оригинальности, но, во всяком случае, по известности и по занимаемой должности. Так это все и было - до Шестого съезда, в конце 1952 года, в особенности же в 1953 году, когда я - так мне кажется - и по плодовитости, и по свежести мысли пошел

впереди Карделя. Кардель почувствовал, что его роль как первого теоретика - под ударом. И он хорошо знал, что при монополистской иерархии это означает и меньшую долю власти.

Это, без сомнения, имело для него значение. На мое замечание, что я с ним согласен, Кардель ответил: "Нет, нет, мы не сходимся во мнениях! Я с тобой не согласен - ты стоишь за изменение всей системы!"

Я остался в одиночестве и должен был один принимать решения - относительно самого себя и своих идей...

Как-то после обеда, около 5 января, работники безопасности отыскали меня в зрительном зале Кинотеки. Моя супруга Штефания решила, что меня арестовывают - лучшая иллюстрация той атмосферы, которая тогда уже создалась вокруг меня. Но я знал и чувствовал, что это не арест. Мне сказали, чтобы я сразу шел к Карделю. А у Карделя - никакой дискуссии, никакой попытки убедить, никакого компромисса. Там был и Ранкович, который молчал, хотя, я сказал бы, в тот момент не только с жестким выражением, но и горечью. Они мне даже не сообщили о предстоящем созыве Пленума. Разговор шел мутный и двусмысленный. Упоминали, что Старый сердит, что мое "дело" серьезно и что его нельзя оставить без последствий.

"Это ревизионизм, по сути дела то же самое, что и бернштейновщина", - сказал Кардель. "Я не читал Бернштейна, - ответил я, - кроме того, что есть у Ленина". Кардель: "А я читал - вот, у меня он есть".

В конце разговора, на мой вопрос, что он делает, пишет ли что-нибудь, он со значительным смешком, показав мне наполовину исписанный лист бумаги, ответил: "Пишу, пишу..." Я понял, что он пишет что-то против меня. Доклад для Третьего пленума... А я и не знал ничего ни о Пленуме, ни о пред-

стоящем докладе! Ранкович ушел по какому-то делу, а Кардель в холле (не думал ли он, - а кто знает, может и думал! - что его кабинет озвучен?) сказал мне искренне, серьезно и безнадежно: "Ничего более тяжелого у меня не было в жизни". Потом махнул рукой, как бы говоря: "Но что поделаешь?" - И пошел вверх по ступенькам, а я - к выходу.

За два-три месяца до этого по поводу какого-то моего замечания Кардель возбужденно и несколько таинственно сказал: "Может быть мы так дойдем и до оппозиции". Более того: "Что же касается этой партии (он подразумевал Союз коммунистов! - *М. Дж.*), то по мне лучше, если бы ее вообще не было!"

Таков Кардель: проникательный, умелый, терпеливый, цивилизованный и - лукавый! С демократическими пожеланиями, даже с демократическими идеями, но без решимости последовательно за них бороться, за них пострадать. Кардель, который даже сумел заварить демократическую кашу - чтобы в решительный момент предоставить ее расхлебывать другим, самому же стать "пожарником" и глашатаем "жесткой линии". Ради комфорта? Ни в коем случае! Ради власти? И да, и нет. Исходя из ленинского прагматизма, прагматизма, лишённого всяких предрассудков и отказывающегося считаться с чем бы то ни было, а потому самого эффективного, Кардель понял и принял на вооружение "истину", что идеи без организации, без власти - не более, чем мечты! Кардель между диктаторской властью и идеями свободы! Может быть и потому, что он был рассудительным, практичным словенцем, Кардель и не мог стать "безумцем" - и тем более не мог согласиться, чтобы им руководил, пусть даже лишь для вида, "безумный черногорец".

И Тито нелегко было рвать со мной. Для того, чтобы доказать это, не нужно приводить примеры: Тито был слишком умен, чтобы не понимать, что дело шло к крутому повороту, к открыто авторитарным формам правления. Особенно ясно это должно бы-

ло ему стать, когда после сообщения о созыве Пленума для обсуждения моих "уклонов" он увидел реакцию западной прессы и стихийного общественного мнения в своей стране. На упомянутой уже встрече он заметил: "Это самое значительное событие после конфликта с Коминформом в сорок восьмом - посмотри сам, как много пишет об этом иностранная печать!"

Я посмотрел - в агенстве ТАНЮГ - и вышел оттуда с двойственным чувством, с расщепленным сознанием: насколько мне импонировало, что "моему" делу придается такой вес, настолько же меня смущала, ужасала поддержка "буржуазии" и "реакции". Во мне просто еще преобладал коммунист-идеалист.

Первое известие о том, что Тито сердит и не соглашается со мной, дошло до меня через генерала Пеко Дапчевича, с которым у меня были сердечные отношения. Он, по своим делам, был у Тито на Брде и там слышал отрицательную и едкую оценку моих писаний из уст Тито. Дапчевич не понял всей серьезности слов Тито: "Тито может вспыхнуть, а потом отойдет..." Но мне было уже все ясно, хотя бы по тому, как вокруг меня постепенно организовывалась пустота, и по тому, как товарищи, которых я знал как "консерваторов", меня избегают или встречают соответствующими замечаниями.

Поэтому упомянутая встреча с Карделем и Ранковичем меня не совсем удивила. Удивил меня, позже, созыв Пленума без моего ведома. Потому что я надеялся: если дойдет до открытого столкновения мнений, спор будет проходить без обычных обвинений в том, что такой-то перешел во вражеский лагерь. Надеялся до тех пор, пока о созыве Пленума не узнал из газет. Поэтому я вначале и дал понять Карделю и Ранковичу, что спор будет разрешен внутри ЦК, без открытых разбирательств, конечно при том условии, что я останусь при своем мнении. Мои предложения - до которых так и не дошло! - сводились

бы к тому, что мне следует уйти из Исполнительного комитета, оставаясь однако в Центральном комитете с тем, чтобы и далее иметь возможность открыто излагать свои мысли, может быть в несколько смягченной, заранее оговоренной форме.

Но мои намеки не нашли отклика: ни Тито, ни консервативное ленинистское течение, которое вместе с ним держало в руках рычаги управления, даже и не помышляли о подобной возможности: монополия власти непременно влечет за собой, навязывает и монополию идей. Ни Тито, ни все это течение и не умели реагировать по иному, как нетерпимо, с тотальным осуждением. Их мышление сводилось к одной-единственной мысли, было направлено в одном-единственном направлении: монополия находится под угрозой. А методы их были - бескомпромиссность и запугивание.

Однако, хотя он и принимал во внимание настроение упомянутого течения, Тито не до конца солидаризировался с ним: хотя он и обладал абсолютной властью, тем не менее не хотел ходить с клеймом диктатора, тем более диктатора сталинского типа. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что я не враг и не предатель. Более того, он знал также, что я не пытаюсь создавать никакой фракции: на уже упомянутой встрече он заметил: "Ничего тут организованного нет...". Потому что, действительно, я - если бы и мог - не хотел создавать никакой группы, никакой фракции. Наибольшее, к чему я тогда стремился, было право свободно излагать идеи - не только мои, и не только социалистические - которые, распространяясь в Союзе коммунистов и вокруг него, влияли бы на решения и на движение к демократическому обществу.

Кроме этого политического ущерба Тито, мне кажется, и внутренне тяжело переносил конфликт - в особенности после того, как ему стало ясно, какой политический вред этим наносится. Когда на той

встрече я сказал ему, что не выспался, и попросил заказать черный кофе, он это сделал, пробурчав: "Другие тоже не спят!" И действительно, на нем, также как и на Карделе, и на Ранковиче, заметны были напряжение и усталость: титовская четверка - Тито, Кардель, Ранкович и я - которая провела партию сквозь самые сильные бури и вывела страну на самостоятельный путь, эта четверка распадалась, а вместе с нею - партийное братство и доверие.

И впоследствии, вскоре после Пленума, на котором я был обвинен и осужден, у Тито были дилеммы. Но уже исключительно политические, перед иностранными журналистами. С одной стороны - слова о старой дружбе, выражение сожаления по поводу разрыва. С другой - подчеркивание того, что я - политически мертв и что "это самая страшная смерть". Когда я об этом узнал и прочел, во мне из каких-то некоммунистических, исконных черногорских глубин поднялась гневная сила: "Нет, не будет этого! Пока я жив, этого не будет!"

Дело в том, что когда Тито принимал решение и начинал двигаться в определенном направлении, он уже не колебался. Незадолго до Третьего пленума Тито вызывал поодиночке всех членов ЦК, про которых было известно, что они колеблются, или что им близки мои взгляды, и убеждал их в ошибочности их точки зрения. Что ему почти полностью удалось. Он говорил о "святыне" единства партии, о "вреде" для страны, и о том, что на его стороне - хотя и молчаливо, зато непоколебимо - стоят армия и полиция. 17 января 1954 года - под мою путаную "самокритику", под недоговоренные до конца отмежевания моей бывшей жены Митра и Владимира Дедиера - Третий пленум единогласно вынес мне осуждение. Формально меня еще не исключили, потому что Пленум повиновался точке зрения Тито: исключение было невыгодно, так как иностранная печать увидела бы в этом

действие, тождественное советским. Через два месяца я сам подал заявление о выходе из партии!

Но несмотря на показную решимость, открытые лживые, клеветнические и устрашающие осуждения как партийные, так и судебные, и в подконтрольной печати, Тито не отказался от намерения применять ко мне тактику, искать методы, как наилучшим образом сохранить свой престиж, избежать осуждения в будущем, в истории. Вскоре после Третьего пленума, в феврале 1954 года ко мне на улицу Баньичких жертв - в то время меня еще не выселили из виллы на Дединье! - явился Владимир Дедиер. Было уже после восьми, а может быть и все девять часов вечера. Хотя было очень холодно, мы вышли "погулять" в сад. Гуляли мы два часа. Дедиер выражался неопределенно, но сказал, что уже семь раз говорил с Ранковичем. О чем именно - он не уточнял. (Из письма Тито Бивену, опубликованного Майклом Футом в его книге о Бивене, видно, что в то время Тито считал отщепенцем лишь одного меня, а не и Дедиера. В тот вечер Дедиер три или четыре раза затрагивал одну и ту же тему: "Они (то есть партийный верх - *М. Дж.*) согласились бы говорить с тобой - если бы ты попросил об этом..."). Однако по моему поведению и моим ответам Дедиеру было более чем ясно, что после той травли и осуждения на Пленуме, после кампании, которая с помощью партии ведется против меня, я о таком разговоре просить не стану.

Я к тому времени окончательно утвердился в своей точке зрения. И не только идейно, но и эмоционально: для меня разрыв с руководством, со многими близкими друзьями, а особенно с Тито, Карделем и Ранковичем, был гораздо более мучителен, чем расхождение в идейной области. Однако опорачивание, поливание грязью, клевета и науськивание на Третьем пленуме, и после него, которые они подстрекали - причем Тито делал это более активно, более умело и бессовестно, чем остальные - молниеносно от-

далили меня от них. Так, Тито на Пленуме бросал мне совсем уж бессмысленные упреки - что я не "сгорел, как товарищ Кидрич". Воспоминания о Кидриче, о его неизлечимом лейкозном, о его помпезных похоронах были еще живы. Но никто не подумал, а тем более не спросил, почему именно я, а не кто-либо другой, обязан был сгореть как Кидрич! О разговоре Тито с иностранными журналистами в те дни я уже упомянул. А одной делегации югославских рабочих он тогда сказал, что я хотел ввести капитализм вместо социализма! И так далее...

Но я то знал - и знал, что они *знают* - что я думаю и чувствую. В моем сознании, в моих мыслях и чувствах, в том, что со мной происходило, в моей судьбе повторялась история всех оппозиционеров коммунизма: их всех обвиняли в том, в чем они не были повинны, все они покалялись, все пошли на самоубийство, чтобы остаться в коммунизме. И только лишь после Третьего пленума - дней через пять-шесть, а может и раньше, после того, как во мне улеглись и выкристаллизовались впечатления и точки зрения (и после того, как я выпался!) - мне многое стало ясно. Стало ясно, что я только качусь от поражения к поражению - это мне было уже не столь важно, потому что я и без того уже все проиграл, - но что я осужден и на моральное падение, и на моральное разложение, если не откажусь от коммунизма, причем коммунизма как идеологии. Они, то есть Тито, Ранкович и Кардель станут всегда "ловить" и "ломать" меня на том, что я "на практике" должен буду доказывать свою преданность коммунизму и партии - для коммунизма эти понятия единичны, и так оно и есть на самом деле!

Разве не сам Тито на Пленуме в ответ на мою самокритику заметил: "Мы еще посмотрим, насколько это искренно...". Поэтому я и не мог ответить Дедиеру никак иначе, как отказом на его предложение просить встречу с Ранковичем и другими. Поэтому я

год спустя, тоже Дедиеру, во время прогулки в Топчидерском парке, когда он рекомендовал мне систематизировать и изложить свои идеи, ответил: "Это могла бы быть только критика коммунизма!" Он умолк и лишь воззрился на меня изумленно.

Я ощутил, уже в первые после пленумские дни, что начал сражение не только в соответствии со своим разумом и моралью - не случайно мною владели заветы и страдания родины и родных! - но что это новый опыт, более широкий, до тех пор не производившийся. Я понимал и то, что до этого момента я вел сражение колеблясь и предаваясь иллюзиям - иллюзиям относительно руководящих коммунистов, их интеллектуальной морали и их товарищеской преданности. И то, что мой основной, хотя не единственный, противник - Тито. Что я не могу больше надеяться ни на милость, ни на понимание, что судьба моя зависит лишь от того, какой образ действия по отношению ко мне наиболее выгоден для Тито с точки зрения власти и личного престижа. Дружба и коммунизм - так, как я их ощущал: искренность и преданность, равенство и свобода - были добиты и похоронены на Третьем пленуме, 16 и 17 января 1954 года.

Я предчувствовал также, что Тито - теперь, когда больше нет Сталина - пойдет на "нормализацию" с Советским Союзом. И не только предчувствовал, но уже и видел: когда советский поверенный в делах, осенью 1953 года указал, что писания, подобные моей статье "Начало конца и начала" не содействуют нормализации", он встретил вялый отпор на верхах, если вообще его встретил. В одном своем предвыборном выступлении, тоже осенью 1953 года, я косвенно полемизировал против "нормализации", которая должна была бы включать в себя связь и сотрудничество югославской партии с советской. Конфликт со Сталиным означал для меня - и это мне кажется сегодня наиболее существенным для всех движений и

всех народов - духовный разрыв с советской системой.

Для меня - в отличие от Тито и остальных руководителей - взаимоотношения Югославии с СССР были второстепенными, хотя я не согласился бы на межпартийное сотрудничество, если бы паче чаяния остался в руководстве. Нормализация международных отношений была и полезной и неизбежной, но межпартийное сотрудничество - вредным и разрушительным для Югославии.

Советское руководство со злорадством следило за расправой надо мной. Примирительные жесты с обеих сторон участились: после осуждения моего "ревизионизма" руководство одновременно отбросило и "мою" теорию о советском строе как государственном капитализме. В 1955 году Хрущев, во время посещения Белграда, со свойственной ему неуклюжестью предлагал югославам мотивировать сближение ликвидацией "врагов": "Вы - Джиласа, а мы Берия!". Велько Мичунович, посол Югославии в Москве, пишет в своей книге "Московские годы", что в 1956 году, во время восстания в Венгрии, советские руководители поздравляли его с моим арестом. Тито может быть (нет, Тито уж наверняка!) понимал, что расправа с "ревизионизмом", то есть со мной, будет приветствоваться Москвой. Но для его решения это было второстепенным, малозначительным: расправа со мной произошла бы и без учета отношений с Москвой. Тито уже и до смерти Сталина указывал на "разболтанность" в партии и на разнობой в идеологии.

Если среди причин расправы надо мной внутри партии, вернее на Третьем пленуме, и присутствовало желание примириться с Советским Союзом, оно было еще туманным и почти невесомым. Однако главной причиной дальнейших "судов" надо мной, причиной моего девятилетнего пребывания в тюрьме, было сознательное намерение Тито и его непосредственного окружения поддерживать хорошие отношения с совет-

ским правительством. Естественно, что меня преследовали не по одной этой причине, а и для того, чтобы запугать заносчивых, догматиков и либеральных партийных "вельмож", чтобы не допустить "легализации" какой бы то ни было оппозиции. Но все же, не меньшее значение имела "советская связь": как будто присутствовала какая-то непонятная, роковая связь между Советским Союзом и Тито - тем самым вождем, который нанес советскому экспансионизму долгонезаживающие раны.

Меня судили пять раз: один раз в королевской Югославии и четыре раза при Тито (если не считать Третий пленум, вынесший своего рода приговор, предавший меня остракизму). Два приговора - первый в 1956 году (три года тюрьмы за заявление и статью в защиту Венгрии), второй - в 1962 году (пять лет тюрьмы за книгу "Разговоры со Сталиным") перед официальным визитом Громыко в Югославию и во время "братской дружбы" с Хрущевым - бесспорно инспирированы и хорошими отношениями с советским правительством. Тем более, что обвинения - вымышленные и вымыслом мотивированные. "Вражеская пропаганда" и "разглашение государственных тайн" - абсурд, рождаемый жизнью и политикой: для того, чтобы не разгневать иностранное правительство, судят товарища, который активно, на виду у всех боролся, защищая независимость своей страны именно от этого иностранного правительства! Этот абсурд, это предательство товарищества вызывали у меня в тюрьме по временам озлобление, но и углубляли мой опыт, пробуждали, обновляли сознание.

Только будущее сможет до конца раскрыть причины и глубину, а в особенности значение, моего конфликта с Тито и с течением, находившимся у власти. Во всяком случае причины его - не личные, или в них весьма мало личного, хотя личности определили его динамику и оставили на нем свои печати.

Должен ли я был бунтовать, совершил ли я ошибку? Ошибся ли Тито, расправляясь со мной таким образом? - Он потом арестовывал меня дважды и держал общим счетом девять лет в тюрьме. Оценку всего этого также должны будут сделать историки - будущие.

Я скажу лишь о своем восприятии - выскажу свое мнение о моих переживаниях, а вместе с тем и о Тито, и о его роли в "моем" деле.

Ни до начала конфликта, и уж во всяком случае после него, у меня не было мысли, не было надежды на то, что я могу победить - если под победой подразумевать переход власти в мои руки. Я не хочу утверждать, что у меня в какие-то короткие моменты не возникало и властолюбие. Так, я не случайно сказал Карделю - на упомянутой встрече у него, в начале января 1953 года, в связи с моим расхождением с руководством - что у меня не было настоящей власти. Смысл этих слов был двойственным: я не принимал решений, у меня не было соответствующей доли власти. Кардель мне язвительно возразил: "Распоряжался и ты, распоряжался!"

Сколько бы я не анализировал себя, даже по прошествии стольких лет, я прихожу все к тому же заключению: я был охвачен определенными идеями, определенными мыслями, от которых, даже если бы захотел, не смог бы отречься, не потерпев внутреннего поражения, не сломавшись морально. Эти идеи сопровождались желанием, стремлением изложить их на бумаге, создать дело своих собственных рук. Эти идеи, эти стремления становились непреодолимыми, обуславливали друг друга: как можно творить без идей, и могут ли существовать идеи, если они не высказаны? Мне кажется, что вначале и Тито, почуввав во мне неуступчивого противника, одновременно ощутил, что мной правит нечто непреодолимое и далеко идущее: интуитивное восприятие у него было чрезвычайно развито. Я не могу себе иначе объяснить его двой-

ственность, его раздражение и одновременно терпение, озлобленное терпение в связи с моим "отступничеством". Позже - после того, как монолитность в стране ослабела, а мои критические идеи стали пользоваться поддержкой извне - он свое отношение ко мне рационализировал, хотя его приглушенное раздражение, его желчь и горечь проявлялись каждый раз, когда бы и где бы не упоминалось мое имя.

Из-за того, что я был так охвачен идеями, у меня не могло возникнуть тактики умалчивания и маневрирования властью, хотя мне - во время приливов властолюбия - приходило в голову и это.

Но как раз именно это - нехватка у меня "политического искусства", умение проводить свою тактику тонко, последовательно и дальновидно - и было тем, в чем меня чаще всего упрекали и в Югославии, и за ее пределами. Я же считал, что кто-то же должен начать выступать с критикой, с идеями - и что это должен быть именно я, раз уж не хочет этого делать кто-то более ответственный, когда нет кого-то, может быть более талантливого, чем я... Эти идеи были не Бог весть какие оригинальные, даже для Югославии, но я ощущал, что высказываю то, что проглядывает отовсюду, а также непреодолимо и из меня самого.

Но не только такой идейной установке, но и моему резкому и открытому характеру не соответствовала беспринципная и лукавая тактическая игра. А если я иногда и помышлял о такой игре - она мне казалась нереальной и неосуществимой. Круг, в котором я жил и работал, был не только узким, но и состоял из товарищей, досконально знавших друг друга, "прочитывающих" любой случайный жест, любой оттенок голоса. Из товарищей, которых больше сроднили совместная тяжелая и кровавая борьба и совместная жизнь, чем идеи и средства. К тому же югославские коммунисты - были! - более открытыми, более сердечными и более рациональными, чем совет-

ские. Притворяться в такой среде было бы делом не только нечестным, но и невыполнимым.

У меня не было выбора - я не видел иной возможности, как или следовать порывам своего разума и совести, или притаиться, отречься от своих идей и сгнить в душной, нетворческой среде, служа вождю, в которого больше не верят, вождю, который идеалы и народ отождествляет со своей славой и мощью.

И ведь там, в ЦК, было их немало - там они и остались - и более ловких, и умеющих лучше заниматься тактикой, и любящих власть больше, чем я! Где они сейчас? Чего добились?

Я выбирал по своему устремлению, по своему умению, по совести. Я и сегодня убежден, что поступал правильно, но не убежден, что добьюсь успеха и победы еще при жизни. В этом именно суть, и в этом разница: Тито - это успех и победа. То, что не есть успех и победа, Тито не увлекает, а значит и не заслуживает, чтобы он ломал себе над этим голову.

13. КАК О ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ,  
ТАК И О ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЖДЯХ  
НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ

Оценка прошлого – по причине обилия фактов – кажется нам более надежной, чем предсказания на будущее. Но уверенности, окончательной и бесповоротной, нет и здесь. Даже если оценка прошлого не зависела бы от взглядов оценивающего – постоянное накопление новых данных диктует новые, иные оценки. Уже по одной этой причине я не претендую на окончательное суждение о Тито. Более того, я знаю, что – несмотря на все старания – не могу быть беспристрастным, потому что моя жизнь, самые значительные – разные и противоречащие один другому – периоды моей деятельности переплетены с деятельностью Тито.

Но очарование исторического повествования как и очарование жизни и политики заключается именно в их неокончателности – в накоплении данных, в высказывании предположений, в новых точках зрения, в соединении того, что происходило в прошлом, с живыми мыслями о будущем. Поэтому, а также, чтобы не оставить никого в недоумении, считаю даже своей обязанностью в конце этой работы как бы подвести черту и сказать, что я думаю о Йосипе Брозе Тито.

Тито, конечно, сознавал, что не оставляет после себя наследника. Более того, он и позаботился о том, чтобы не было наследников. Он был настоль-

ко высокого мнения о себе и своем творении, что под конец жизни приказал переменить конституцию и ввести "коллективное руководство" – чтобы никто после него не мог иметь столько власти, и такой власти, чтобы никто не мог злоупотреблять таким количеством – и качеством – власти против его дела и против памяти о нем. Тито хотел увековечить себя в истории будущего, приняв меры к тому, чтобы сделать свою функцию и свою роль неповторимыми. Но он в то же время хорошо знал, что ни жизнь, ни политические формы нельзя зафиксировать навечно – и потому "предвидел" и средство, которое обеспечивает, хотя бы на некоторое время, продолжение его дела и его самого. Так он думал, целеустремленно и самоуверенно, с тех пор, как пришел к власти в Яйце в 1943 и в Белграде в 1944 году. Во время празднования десятилетия АВНОЮ 29 ноября 1953 года я на торжественном заседании оказался по правую руку Тито. До этого Кардель мне заметил, что мы не подумали, какие почести оказать Тито в связи с юбилеем. Мы решили, что такой почестью могло бы быть вручение "маршальского знака", который сделал скульптор Августиневич по договоренности с Тито. Но времени уже не хватало. Мне же пришлось в голову, что следовало бы этот знак официально сделать наследственным – для председателя республики как верховного командующего. Это я и сказал Тито во время заседания, сидя рядом с ним. На что он мрачно – может быть и потому, что у него уже накопилось недовольство моими "ревизионистскими" писаниями – ответил: "Вот-вот, чтобы потом его носил какой-нибудь мерзавец!". Разумеется, упомянутый знак в будущем мог достаться и "какому-нибудь мерзавцу", но все же "мерзавцу" в качестве председателя республики. Однако Тито планировал и старался, чтобы все, связанное с его личностью, было не только неповторимым, но и исключительным, недостижимым. Он считал, что бессмертие обеспечивает

только "историческое сияние" - пребывание в памяти народа. Но и в печатном слове, и в памятниках.

Однако боязнь Тито, что кто-то из революционных партийных руководителей переймет его роль и затмит его сияние, не была главной причиной их удаления от него. Нет, этих руководителей - вне зависимости от ориентации каждого из них в отдельности - оттирал сам процесс роста абсолютной власти Тито. Удержался один только Кардель, хотя он и был по значению и по роли вторым лицом после Тито. Судя по всему, в конце пятидесятих годов и он впал в немилость. Но он удержался до конца, соглашаясь со всем, приспособляясь к Тито, а затем и к послетитовскому "коллективному руководству", в котором играл роль лишь одного из многих.

Власть Тито, абсолютная с самого начала, но поддерживаемая личностями, которые как и он приобрели авторитет и силу путем революционной борьбы; эта власть - даже если бы Тито был более "коллективным" и скромным - уже потому, что она все усиливалась, не могла не завершиться приходом на верхи неталантливых, "безличных" личностей.

Именно власть, которой Тито - не без основания, однако чрезмерно! - придавал исключительное значение, остается после него в нестабильной, импровизированной форме. Такой вид власти в однопартийных системах никогда и нигде не был ни эффективным, ни продолжительным. И хотя я не сторонник длительных, неизменяющихся форм, а еще меньше эффективности, базирующейся только на власти - Югославии не помешал бы смелый, обладающий фантазией вождь и укоренившиеся, и прочные институты - даже если мир и Балканы движутся по направлению к более мирным временам. "Коллективное руководство" противоречит титовскому пониманию власти, в особенности же власти, которую он отстаивал и осуществлял. "Коллективное руководство" сохраняется и осуществляется титоистами, то есть коммунистами, у ко-

торых, как и у Тито, иная, "неколлективная" концепция власти. Уже сам замысел такого руководства чреват противоречиями. К тому же оно и не оригинально: оно впервые появилось в Советском Союзе после Сталина, как реакция на страшное сталинское владычество, и просуществовало до тех пор, пока один из олигархов, Хрущев, не захватил власть.

А Югославия ни изнутри, ни вовне не обладает стабильностью Советского Союза: в ней нет еще отстроенной системы, нет уверенного в себе гомогенного правящего класса, нет ведущей нации, нет сил для того, чтобы играть самостоятельную имперскую роль в мире. Стабильность "титовской Югославии" заключалась во власти, прочности и монопольности которой олицетворялась в личности Тито. Такой личности нет. Юридическая и реальная структура власти базируется на "равноправности", то есть на одинаковом участии в ней республик. Тито всей своей властью и своим авторитетом обеспечивал и согласие и функционирование. Самое малое несогласие - а где его не бывает? - может вызвать крупные осложнения, которые Советский Союз подкарауливает и подстрекает ради своей "безопасности"; а Болгария - ради "вековых национальных прав".

Беда может, а вероятно и будет, грозить самой основе дела Тито, послетитовской Югославии - ее идеологической, монопольной власти. Этим самым неизбежно будет поставлена под удар и независимость Югославии.

Однако ни предвидения, ни анализ настоящего положения не относятся к теме этой книги. Рассмотрим вблизи перемены и нововведения, которые оставил после себя Тито и которые - вне зависимости от того, как кто их оценит - будут связываться с его именем.

Первое знаменитое достижение югославских коммунистов и Тито как их вождя - революция. От нее проистекают и все остальные достижения, в том чис-

ле - по моему мнению самое значительное - и отрыв от Москвы в 1948 году: начало распада мирового коммунизма на национальные государства и национальные компартии.

Разумеется, противники революции, каждый со своих позиций, будут рассматривать революцию как зло и шаг назад. Сербские националисты: как расщепление и лишение сербского народа его былой силы. Хорватские националисты: как невозможность создать собственное государство, как необходимость подчиниться. Демократы: как уничтожение гражданских свобод. Но никто не может оспорить самого факта, что она произошла и, тем самым, произвела некоторые перемены. А именно: признала одинаковые административные и культурные права за всеми национальностями, установила новые, "социалистические" общественные и собственнические отношения.

"Национальный вопрос" этим до конца решен не был - и не может быть решен раз и навсегда, потому что нации различны по структуре и по устремлениям. Но вместе с этим начался и процесс развития разных национальных государственностей - в Югославии как государственном объединении. "Социальный вопрос" тоже не совсем решен - это и невозможно, потому что общество замерло бы, стагнировало: создались новые социальные отношения, управлять начал новый класс.

В связи с этим заслугой, и может быть немалой, Тито и югославских коммунистов следует считать то, что они, вопреки своим догмам, выполнили: несмотря на то, что они стремились к идеологическому и эмоциональному слиянию югославов - любимый лозунг Тито: "Братство и единство", - они не тормозили государственное и культурное становление на национальной основе. То же и в промышленности и в обществе: техническая революция, начавшаяся в северных районах страны до революции политической - еще при Австро-Венгрии - завершена при Тито. Но, в от-

личие от Советского Союза, - без уничтожения всех "несоциалистических" форм и "чуждых" групп. И все это - в нарушение ленинистского "передового учения". В значительной мере из опасения, чтобы внутреннее ослабление не послужило бы поводом для усиления давления извне, или даже не спровоцировало интервенцию. Но все это произошло и является доказательством как реализма, так и сильного стремления к независимости.

Независимость, то есть разрыв с Москвой и хождение иными, немосковскими путями, без сомнения самое бесспорное, самое большое достижение, которое наиболее оправданно соединяют с именем Тито. Корни югославской независимости - в силе и самосознании революции. Эта независимость наиболее полно проявилась в стремлении и проведении собственной внешней политики, особенно же в движении не-присоединившихся стран.

Но какое бы из этих достижений мы не рассматривали вблизи, мы видим незаконченность и нестабильность... Как будто на уходе Тито с политической сцены лежит какая-то печать судьбы. Промышленность страдает не только от мирового, но еще больше от собственного кризиса, кризиса структурного и неизлечимого при нынешней социально-политической основе: низкая производительность труда, нефункциональная собственность, идеологический отбор кадров, чрезмерная утечка рабочей силы (при двадцатидвухмиллионном населении, больше миллиона югославов выехали на работу в европейские страны. - *Прим. пер.*), наибольший процент безработных в Европе (свыше двенадцати процентов), нерентабельное расположение предприятий, нацеленность на обработку импортного сырья и полуфабрикатов, чересчур большая задолженность, чрезмерный торговый дисбаланс. Сами официальные лица очень уж часто указывают на пассивность и неэффективность Союза коммунистов - несмотря на 1 800 000 членов, несмотря

на многолетнюю и интенсивную индоктринацию - от начальной школы до университета, от фабрики до Академии наук. Югославское общество расслоено, плюралистично - монолитно, неплюралистично только власть партийных верхов, партийного верхнего слоя, стоящего над обществом, да и над партийной массой. О подчинении системы самоуправления партии уже было сказано. Что же касается неприсоединенности, вернее сказать утопического, идеологического ориентирования на движение неприсоединившихся стран как на единую, причем самую значительную силу, сохраняющую мир и независимость - то достаточно указать на неэффективность, на разброд во время всех крупных и жгучих недеklarированных кризисов (оккупация Афганистана, советско-кубинские интервенции, войны между неприсоединившимися, пристрастие в оценке блоков и т.д.). В движении неприсоединившихся наиболее предприимчивы присоединившиеся, просоветские страны. Самозванная "совесть человечества" - как вожди, главным образом диктаторы, назвали движение неприсоединившихся - и на этот раз выявила свою слабость не только по отношению к "злату и булату", но и по отношению к своей собственной совести, к принципам, которые были ею же провозглашены. Нации уже невдалеке от страшных, смертельных бурь. И Югославия только еще должна найти свое место, своих друзей и свои собственные средства - если хочет сохранить свою государственную независимость, свое лицо и свободу своих народов.

Но смог бы Тито добиться большего, иного, обладая ленинистской партией, ленинистской идеологией и автократической властью, в стране такой отсталой и настолько опустошенной войной и гражданской войной? Вопрос поставлен неверно: при такой ориентации, с такой властью нельзя было бы добиться большего даже в более благоприятных условиях.

Вопрос следовало бы поставить так: смог бы Тито найти формы и освободить силы, которые могли

бы взрастить плоды более обильные и на более длительный период? Из этого возникает ключевой вопрос: а существовало ли вообще стремление к иным формам, проявляли ли себя другие силы? То есть удушили ли Тито, титовская партия и титовская власть такие формы и такие силы, должны ли они были или не должны удушать эти формы и эти силы? И все сводится в конце концов по существу к вопросу свободы под властью Тито - причем не теоретической свободы или свободы по какому-то определенному образцу, а свободы конкретной, свободы, которую излучают живые силы и традиции любой страны.

С такой точки зрения "достижения" Тито и титовцев недостаточно назвать мальми. Они - шаг назад, они убийственны и для духовных, и для материальных возможностей Югославии.

Нельзя отрицать, что в Югославии личная жизнь "простого человека" - но кто простой, а кто не простой? - защищена от беззакония и произвола. "Достаточно" не вмешиваться в политику - а кто может в нее не вмешиваться, если сама политика вмешивается в дела каждого? Достаточно довольствоваться своим малым заработком, мириться с нуждой (однако многие с этим не мирятся, "левая" промышленность в Югославии очень развита), чтобы биологически просуществовать, а духовно прозябать. Так сейчас примерно обстоят дела во всей Восточной Европе, а "свободы" в Венгрии и Польше не намного меньше, чем в Югославии. Югославское "изобилие" и югославские "свободы" проистекают не столько из либерализма Тито - Тито никогда в партии не представлял либеральное течение - сколько из положения, богатства и истории Югославии.

В Югославии, без сомнения, со всех точек зрения лучше, более сносно, чем в странах Восточной Европы. Но такое положение хуже того, что могло быть - хуже того положения, которое бы было, если бы хоть внутри правящей партии допускались более

свободные, более открытые дискуссии. Но этого нет, и нет надежды, что будет. По той простой причине, что коммунисты (точнее, комитеты и аппарат - титовская партия тоже держится на комитетах и бюрократии) своей монополистской природой, монополией идеологии и монополией политической практики удушают все остальные силы, даже если они только лишь реформистские и не отрицают основ системы.

Историки подробно и более достоверно опишут явления и силы, существовавшие внутри и вне партии, с помощью которых строй мог бы стать более открытым, не опасаясь за свои основы и за главные революционные достижения. И никто не сможет утверждать, что таких сил и таких попыток не было.

Укажу лишь на те, которые кажутся мне наиболее характерными и бесспорными.

Демократическая (гражданская) оппозиция во главе которой стоял Милан Грол, лидер демократической партии (в большинстве своем сербской). Все довоенные партии, исключая коммунистическую, были и по составу, и по деятельности местными и национальными - сербские, хорватские, словенские и т.д. Во время войны они распались. Но части некоторых из них - не считая "фронтовые" группы, подчинившиеся коммунистическому руководству и отказавшиеся от самостоятельной организации - признавали революционные перемены и были готовы к роли лояльной, легальной оппозиции. Коммунистическое руководство не только не согласилось на это, но путем запугивания, преследования и травли сделало невозможной любую оппозиционную деятельность: в этом и я играл ведущую пропагандную роль, проявляя собственную инициативу. Причем, не опасаясь контрреволюции, - контрреволюция должна была концентрироваться и уже начала концентрироваться вокруг демократов Грола\*, - потому что контрреволюция была разгромлена, а армия, полиция и средства информации, фактически вся власть находилась настолько надеж-

но в коммунистических руках, что у контрреволюции не было реальных возможностей на существование. Но коммунисты расширяют "понятие" контрреволюции, распространяют его на всех несогласных вообще - в соответствии со своими диктаторскими возможностями и своими идеологическими представлениями. Мы, коммунисты, не желали вообще никакой оппозиции - мы хотели сохранить для себя абсолютно всю власть для того, чтобы удобнее было управлять и без помех создавать "бесклассовое общество"...

Когда летом 1945 года обсуждался проект закона о выборах в Скупщину, которая должна была выработать конституцию, в него сознательно были внесены пункты, которые не только затрудняли, но и делали невозможным участие оппозиции в выборах. Мы хорошо знали, насколько раздроблена и неорганизована оппозиция, понимали, какие огромные преимущества дает нам возможность отбирать гражданские права за сотрудничество с оккупантами, а в особенности за "сотрудничество с сотрудниками оккупантов"! На партийных верхах - вполне реально, в связи с военной славой, организованностью и популярностью коммунистов среди подчиненных народов и в повстанческих районах - рассчитывали, что мы можем получить минимум шестьдесят процентов, а может и все семьдесят процентов голосов. И несмотря на это было решено, что избирательный закон надо повернуть так, чтобы не дать оппозиции возможности выступить. Чтобы оппозиция, таким образом, не приобрела легальность и не могла бы превратиться в "серьезную проблему" - в будущем!

В то время и Грол, до того момента председатель правительства, подал в отставку - в письме к Тито от 18 августа 1945 года. Кардель ознакомил меня с этим письмом и обратил на него особое внимание. В письме говорилось о самоуправствах, трюках, доктринерстве. На нас, наверху, это письмо произвело впечатление не столько логическим и убе-

дательным содержанием, сколько уравновешенностью, культурой и достоинством формы. Потому что наше сознание, наши образцы, наши силы и наши структуры уже давно были направлены в определенном направлении; и заскорузло однопартийны. Демократическая альтернатива уже тогда была не только упущена, но и уничтожена. А этим самым была порвана связь с формами и взглядами прошлого: был создан строй, который всегда начинается с начала!

Столкновение с Советским Союзом в 1948 году, а с ним и появление у нас внутрипартийной "сталинистской" (так называемые коминформовцы) оппозиции, не создало ни перспектив, ни идей для демократического, плюралистического решения: противная, просоветская сторона была еще более нетерпимой, в тылу у нее накапливались сталинский террор и экспансия.

Этого однако нельзя сказать о течениях, появившихся в начале пятидесятых годов, поскольку они стремились к реформированию существующего порядка, как для более гармоничного и динамичного развития, так и для приобретения идеологической самостоятельности. Поскольку борьба против этих течений началась с расправы надо мной, ее чаще всего связывают с моим именем. На самом же деле это был целый спектр взглядов - национальных, философских и идеологических.

В конце шестидесятых годов появилась еще одна, наиболее зрелая, хотя и наименее известная возможность демократизации: национальный коммунизм в Хорватии (Мика Трипало, Савка Далчевич-Кучар) и демократическое течение в партийном руководстве Сербии (Марко Никезич, Латинка Петрович).

Национальный коммунизм в Хорватии не обладал определенной политической философией, но был динамичен и реалистичен в постановке автономистских требований - как государственно-правовых, так и экономических. Эволюция Югославии от культурно-ад-

министративного феодализма советского типа к государственности республик - результат, в первую очередь, активности и находчивости национальных коммунистов Хорватии, к которым присоединились и другие хорватские националистические течения. Движение одно время начало развиваться, охватив широкие слои. Сам Тито долгое время не знал, что предпринять - впоследствии он утверждал, что его "обманули"; руководство разыграло славолубие Тито - клялось его именем, возвеличивало в печати как хорвата, устраивало ему воодушевленные встречи и даже пользовалось его поддержкой. Однако славолубие Тито - политическое, то есть такое, которое отвечает его пониманию власти и его целям: когда стало ясно, что движение приобретает неконтролируемые формы и руководство в нем начинают перенимать некоммунистические, антикоммунистические силы, Тито в декабре 1970 года сменил партийное руководство Хорватии и приказал арестовать самых известных и непоколебимых хорватских националистов.

Примерно так же поступили в Сербии, хотя там оппозиционное течение не было ни массовым, ни националистским. Это были, главным образом, интеллектуалы из партийной верхушки, из редакций и художественной среды. Они не оформили - скорее всего, не успели оформить! - свою идеологическую платформу, но они явно склонялись к демократическим методам. Они тоже - в большей степени, чем сами это осознавали - были связаны с национальной, либеральной сербской традицией. У них не было ни реальной власти - полиция и армия контролируются из центра, - ни организации. Тито их сперва пытался рассеять, созвав - незаконно, в нарушение устава - "партийный актив Сербии". А после того, как и там ему не удалось склонить на свою сторону большинство, занялся с помощью "своих людей" разрушением снизу с помощью низовых парторганизаций и секретной службы. В Словении чистке подверглось демокра-

тическое и национальное течение Кавчица. В Македонии же сильной чистки не было.

Мог ли Тито поступить иначе, не поставив под удар дело своих рук? И это – неверно поставленный вопрос! Потому что, как только дело начинает почитаться непреходящей ценностью как раз и навсегда установленная привилегия – всегда найдется кто-то, кто будет это дело спасать. Подлинное, неустаревающее дело – это метод, средство, с помощью которого освобождаются духовные, а тем самым и производственные силы.

Тито, в особенности с начала семидесятых годов, на самом деле остановил движение, прекратил перемены и вернул творческие общественные, национальные и индивидуальные возможности к упрощенным формулам и отжившим идеалам своей молодости: партия, класс, марксизм, монолитность, индоктринация. И – а как же иначе? – к дальнейшему укреплению своей единоличной власти и обожествлению своей личности.

Поэтому и можно вывести заключение: Тито – политик большого масштаба, многого добившийся в рамках коммунистического движения. Однако он совершил и крупнейшие, непоправимые ошибки в более широком, демократическом и человеческом плане. Политик чрезвычайно находчивый, с верным инстинктом и неисчерпаемой энергией. Но и личность, стремящаяся к власти, к личной власти в такой степени, что он не замечал, а в решительные минуты и заглушал, голоса и уничтожал течения, которые могли обогатить жизнь, которые бы помогли обществу и отдельным личностям раскрепоститься, стать более открытыми и творческими.

Политик необыкновенного взлета, способный принимать смелые самостоятельные решения, но не оставивший по себе долгосрочных духовных или общественных памятников.

Титоизм – если под этим подразумевать личную власть, поощрение однотипной собственности и партийной бюрократической монополии, однопартийной системы как базы внутренней однородности и внешнеполитической независимости – этот титоизм начнет исчезать вскоре после смерти Тито, да и сейчас он уже начинает крошиться. Но сам Йосип Броз Тито как историческая личность переживет самого себя и будет еще долго предметом исторических исследований и анализов.

Потому что – хотя дела Тито невозможно отделить от его личности – личность более интересна и оригинальна. И более живуча. Может быть многое было бы иначе, наверное было бы иначе, если бы Тито многие усилия и жертвы партии и народа не мерил своими собственными мерками и не подтасовывал под себя – слишком часто и в соответствии со своими слабостями. Потому что в конце концов дело создает личность, а не личность дело.

Белград, 1 марта – 30 апреля 1980 года

## POST SCRIPTUM, POST MORTEM

Эта книга была окончена – как читатель может видеть по дате в ее конце – когда 4 мая 1980 года было сообщено, что Йосип Броз Тито скончался.

Именно тогда я начал перечитывать и править текст рукописи. Однако смерть Тито, как и все то, что происходило и сообщалось в связи с ней, несколько не влияли на меня и на рукопись, над которой я работал. Конечно, написать книгу меня отчасти побудил и повышенный интерес общественности, и усиление идолопоклонничества к личности Тито во время его болезни. Но на мои мысли о Тито и на данную работу о нем это не повлияло: я начал писать и писал на основании своих собственных оценок, своих взглядов.

Таким образом смерть Тито в этой работе не упомянута, хотя она и заслуживает – своей идеологизированной, культовой эмоциональностью в Югославии и сенсационной реакцией и заинтересованностью внешних факторов – объективного и углубленного исследования. Но эту тему – будем надеяться – начнут разбирать в иные времена и при наличии другого опыта. Тематически она не входит в эту книгу и только нарушила бы ее цельность.

АВТОР

В начале июня 1980 года

## АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1911 году в селе Подбище около города Колашина, в Черногории.

Учился в гимназии в Колашине и в Беранах (теперь Иванград).

В университет (философский факультет, отделение югославской литературы) поступил в 1929 году. Одновременно с переездом в Белград начал более интенсивную литературную деятельность – стихи и рассказы в разных журналах. Одновременно стал проявлять политическую активность, в особенности против диктатуры короля Александра, так называемой Диктатуры шестого января. Осенью 1931 года я был одним из организаторов студенческих демонстраций против выборов по единому списку, организованных тогдашним председателем правительства генералом Петром Живковичем. В объединенном студенческом движении я представлял коммунистическое течение, хотя официальной коммунистической организации не было ни в университете, ни в Белграде, были только отдельные люди. Впоследствии я организовывал и другие демонстрации.

Тогда я избежал ареста. Но в феврале был арестован полицией и через десять дней выпущен за недостатком доказательств.

В 1932 году я стал членом коммунистической партии и секретарем коммунистической организации

университета. В том же году я установил связь между студенческой организацией и группой рабочих-коммунистов. Эта рабочая группа была вскрыта, среди арестованных оказался и я. В полиции меня мучили, чтобы я раскрыл студенческую организацию, но усилия полиции остались без результата. Тогда же меня осудили на три года каторги, большую часть которых я отбыл в городе Сремска Митровица.

После выхода из тюрьмы, в 1936 году, на меня, а затем и на Александра Ранковича, легла наиболее ответственная часть дел Коммунистической партии в Сербии. В 1937 году я стал членом Краевого комитета Сербии, а в 1938 году, когда во главе партии стал Тито, и членом ЦК Коммунистической партии Югославии. В 1940 году меня на нелегальном съезде формально утвердили в должности члена высшего партийного руководства – Политбюро. К партийному руководству я "де факто" принадлежал с 1937 года по 1954 год – пока не разошелся с политикой партии.

В партии я исполнял разные обязанности, но агитацией и пропагандой занимался все время.

В апреле 1941 года Югославия была оккупирована.

После нападения Гитлера на СССР, Центральный комитет направил меня в Черногорию для организации восстания. Там я оставался до осени, потом меня вызвали в освобожденные Ужице. Здесь я перенял работу в газете "Борба" – до тех пор, пока немецкое наступление не вытеснило главные партизанские силы с территории Сербии. Тито и остальные члены ЦК отступили в Боснию, а я остался в городе Нова Варош, на границе Сербии и Черногории, откуда мне впоследствии пришлось отступать в разгаре зимы, в очень тяжелых условиях. Отступление прошло успешно, и я присоединился к Центральному комитету, вернее к Верховному партизанскому штабу.

В 1942 году я был редактором "Борбы" на освобожденной территории.

В 1943 году я участвовал в разработке решений Антифашистского веча, которые послужили формальной основой нынешней Югославии, а также участвовал в его заседаниях. В начале 1944 года меня произвели в чин генерал-лейтенанта, а вскоре после этого направили во главе военной миссии в Москву. Во время войны я был членом партизанского Верховного штаба.

Я вошел и в первое югославское правительство в 1945 году, сначала как министр по делам Черногории, затем как министр без портфеля, а в начале 1953 года занял место заместителя председателя правительства.

Моя работа в те годы проходила главным образом в Центральном комитете, в правительстве же я занимался делами образования и культуры.

В 1945 году я сопровождал Тито в Москву.

В 1946 году я участвовал в предварительной мирной конференции в Париже. В том же году ездил с Тито в Варшаву и в Прагу.

В 1947 году вместе с Карделем участвовал в создании Коминформа.

В 1948 году возглавлял делегацию, которая вместе с советским правительством должна была согласовать политику двух правительств по отношению к Албании и разрешить вопрос снаряжения югославской армии. В том же году избран одним из секретарей КПЮ.

В 1949 году участвовал на конференции ООН в Нью-Йорке, где выступил с речью против советского давления на Югославию.

В 1951 году посетил Великобританию, где познакомился с Этли и Черчиллем. В том же году, на заседании ООН защищал позицию Югославии по отношению к СССР.

В начале 1953 года принимал участие в Азиатской социалистической конференции в Рангуне, а также в "визитах доброй воли" в Бирме и Индии.

В 1953 году начались мои идеологические расхождения с руководством партии.

В январе 1954 года меня обвинили в ревизионизме и исключили из Центрального комитета. Несколько позже я подал заявление о выходе из партии.

В январе 1954 года осужден на три года тюрьмы условно.

В ноябре 1956 года арестован и осужден к трем годам за критику югославской политики по отношению к революции в Венгрии.

В ноябре 1957 года осужден к семи годам за книгу "Новый класс". Тогда же лишен всех наград и орденов.

В тюрьме в Сремской Митровице пробыл четыре года и два месяца, откуда условно освобожден в январе 1961 года.

В апреле 1962 года снова арестован, за книгу "Разговоры со Сталиным", за которую осужден к пяти годам - с прежним приговором это составило тринадцать лет. В конце 1966 года освобожден безусловно.

Всего я пробыл в тюрьмах двенадцать лет - три года в королевской, девять лет (четыре плюс пять) в послевоенной Югославии.

Милован Джилас

#### ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

"Новый класс", "Разговоры со Сталиным", "Черногория", "Прокаженный и другие рассказы", "Негош", "Несовершенное общество", "Проигранные битвы", "Страна беззакония", "Камень и фиалки", "Воспоминания революционера", "Части жизни" (Избранные произведения), "Годы войны", "Дружба с Тито" ("Тито - мой друг, мой враг").

Перевел "Потерянный рай" Джона Мильтона.

Статьи в американских, английских, итальянских и других газетах и журналах ("Нью-Йорк таймс", "Таймс", "Вельт", "Энкаунтер", "Нью лидер", "Комментер", "Монд", "Корриере делла сера" и другие).

#### ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Предварительное примечание: справка о сербских добровольцах в Русской армии взята из воспоминаний офицера Первой Сербской добровольческой дивизии; о немецком национальном меньшинстве - из западногерманской энциклопедии Брокгауза, по которой сравнивались и некоторые другие данные. Почти весь остальной материал взят из югославского энциклопедического словаря и Большой Советской Энциклопедии. Следовательно, в примечания могли вкратце некоторые ошибки, поскольку и нынешняя югославская, и советская справочная литература сознательно искажают факты, а об очень многом умалчивают (в частности, даже о самом существовании автора данной книги, Милована Джиласа). Кроме того, некоторые из упоминающихся в книге лиц уже умерли (например Э.Кардель), но в справочниках, которыми мы пользовались, это еще не указано.

Стр. 20 - *Зогович* Радован, р. в 1907 г., поэт и переводчик с русского языка; во время войны написал поэму "Песня о биографии товарища Тито"; во время конфликта Тито со Сталиным не выступил в защиту Тито; в конце 60-х годов после долгого перерыва его снова начали публиковать.

*Никезич* Марко, р. в 1921 г., в партию вступил в 1939 г., будучи студентом Белградского унив.; во

время войны действовал на оккупированной немцами территории, затем - функционер местного значения; с 1952 г. - дипломат; в 1962 г. - министр иностранных дел, член ЦК; впал в немилость за "либеральную линию".

Стр. 21 - *Лепоглава*, село в Хорватском Загорье, где с 15 в. был монастырь (в 17 в. при нем была и философская школа); в 18 в. здание монастыря превращено в тюрьму, действующую и в настоящее время.

Стр. 23 - *Загорье* (Хорватское Загорье), холмистая густонаселенная (120-150 чел. на кв. км) местность (около 1500 кв. км) на север от Загреба. Загорцы говорят на "кайкавском" (см. ниже) диалекте, в котором ощущается влияние словенского языка.

*Неретва*, главная река Герцеговины (дл. 218 км), впадающая в Адриатическое море. Сражение на Неретве в феврале 1943 г. - фактически выход из окружения, предпринятого оккупационными немецкими и итальянскими частями совместно с четниками Драже Михайловича и хорватскими домобранцами с целью уничтожения коммунистических партизан; в нынешней Югославии сражение на Н. именуется также "четвертым неприятельским наступлением"; немецкое командование планировало операцию под кодами "Вайс 1" и "Вайс 2".

Стр. 24 - *Ужицкая республика*. В августе - сентябре 1941 г. коммунистические партизаны заняли г. Ужице в Сербии (в наст. время *Титово Ужице*, с нас. 30 000), а также Ужицкий район (Байина Башта, Частина, Иваньица и неск. друг. нас. пунктов); в Ужице находился ЦК КПЮ, главный партизанский штаб, центр снабжения партизанских отрядов, типография, редакция газеты "Борба" и др.; в конце ноября 41 г. партизаны из этого района вытеснены немцами и четниками Драже Михайловича.

Стр. 29 - *Петроварадин*, город в Среме, на правом берегу Дуная (на левом берегу - Нови Сад), б.

гарнизонный город с крепостью, выстроенной в 16 в. В 17-18 в.в. - пограничная австрийская крепость; в новое время также в ведении вооруженных сил Австрии, затем Югославии.

Стр. 30 - *Добровольческие части из ю. славян*. Подразумеваются Сербская добровольческая дивизия и Сербский добровольческий корпус в составе Русской армии. Первая Сербская добровольческая дивизия, сформированная в Одессе в начале 1916 г. (решение о формировании принято в декабре 1915 г.) из попавших в плен и перешедших к русским из австрийской армии южных славян. В августе 1916 г. в составе корпуса ген. Зайончковского вела бои в Добруже. После этого был создан Сербский добровольческий корпус, который был частично переправлен на Салоникский фронт. Часть д. осталась в России и после революции примкнула к Красной, или к Белой армии, или разбрелась.

Стр. 39 - *Горачи* Милан (Йосип Чижински) р. в 1904 г. в Сараеве. В 1921 г. арестован как член Областного комитета КПЮ Боснии и Герцеговины. В 1923 г. уехал в СССР и принят в ВКП(б). С 1932 по 1937 г. - секретарь КПЮ. В 1937 г. расстрелян в СССР как "агент международного империализма".

Стр. 43 - *АВНОЮ*, Антифашистское вече народно-го освобождения Югославии. Первая сессия (54 делегата) состоялась во время немецкой оккупации 26 - 27 ноября 1942 г. в городе Бихач, где АВНОЮ объявило себя "высшим политическим представительным органом, объединяющим патриотические силы Югославии" для борьбы против оккупантов; первый председатель АВНОЮ - Иван Рибар (1881-1966), один из основателей и лидеров Хорватской демократической партии. (С 1945 по 1953 - председатель презид. Народной Скупщины).

Стр. 46 - *Кардель* (Эдвард Бевц) р. в 1910 г., член КПЮ с 1928 г., один из лидеров компартии Сло-

вении; 1934-1937 - профессор Коммунистического университета нац. меньшинств Запада им. Мархлевского; с 1937 член ЦК КПЮ; один из лидеров АВНОЮ; 1945 г. - зам. пред. правительства Югославии; 1963-1967 г. - пред. Скупщины.

*Кидрич* Борис, р. 1912 г., сын известного словенского историка литературы Франца Кидрича; вступил в КПЮ в 6-ом классе гимназии; с 1932 г. - один из лидеров КП Словении, один из основателей партизанского движения, член Политбюро.

*Бакарнич* Владимир, р. в 1912 г., окончил юридический факультет в Загребе, один из лидеров компартии Хорватии, во время войны - комиссар гл. штаба партизанских частей, после войны - пред. правительства СР Хорватии и член СКЮ.

*Ранкович* Александр, "Марко", р. в 1910 г., сын крестьянина, участник профсоюзного движения, член КПЮ с 1928 г.; шесть лет каторги за коммунистическую деятельность; с 1937 г. член ЦК и Политбюро; в 1941 г. - захвачен гестапо, бежал; во время войны один из ближайших сотрудников Тито. Под его руководством созданы органы гос. безопасности послевоенной Югославии: ОЗНА, переименованное затем в УДБА, а потом в СУП; министр внутренних дел, зам. пред. правительства, член Политбюро.

Стр. 52 - *Контрреволюционные противники*. Особо жестокие расправы происходили над сербскими добровольцами Лютича, четниками, хорватскими добровольцами, словенскими добровольцами и другими антикоммунистами, которые были выданы Тито английским военным командованием весной 1945 г. Среди выданных и затем уничтоженных - епископы, священники и монахи Черногории, ушедшие от коммунистов.

Стр. 71 - *Дрвар*, небольшой город на юго-западе Боснии, где во время войны находился главный партизанский штаб. 25 мая 1944 г. немецкое командование предприняло операцию с целью его разгрома.

Стр. 76 - "*Кайкавский*". Сербскохорватский язык делится на три основных диалекта: "штокавский", "чакавский" и "кайкавский".

Стр. 96 - "*Жакерия*", крестьянский бунт (от Жака-Простака, предводителя крестьянского восстания во Франции в 1358 г.).

Стр. 109 - *Озвучить*. Джилас употребляет здесь широко распространенное неофициальное значение этого слова: поставить незаметную подслушивающую аппаратуру.

Стр. 115 - *Брионские острова*, 15 небольших островов в Адриатическом море.

Стр. 116 - *Попович* Коча, р. в 1908 г.; гимназия в Белграде, Сорбонна; член КПЮ с 1933 г.; участник войны в Испании; во время войны 41-45 гг. командовал отрядами, затем группой отрядов, Первой пролетарской дивизией, Первым пролетарским корпусом; с 1944 г. - нач. Гл. штаба, 1945-1953 гг. нач. Штаба ю. армии; 1953-1964 гг. секр. ин. дел, затем зам. пред. Югославии, член ЦК и пр.

Стр. 119 - *Граф Чано*, 1903-1944. Участник "похода на Рим" вместе с Муссолини, крупный деятель фашистского движения Италии. Муж дочери Муссаллини.

Стр. 120 - *Августинчич* Антуан, р. в 1900 году. Хорватский скульптор, ученик Мештровича. Автор фигуры всадника перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Стр. 121 - *Павелич* Анте (1889-1959), адвокат, хорватский националист, во время немецкой оккупации возглавитель Независимого государства Хорватии. После войны бежал в Аргентину. Умер в Мадриде.

Стр. 129 - *Дидиер* Владимир, р. в 1914 г. в Белграде, с молодых лет в КПЮ, корреспондент в Испании во время гражданской войны. С 1941 г. - в газете "Борба", с 1952 г. - в ЦК СКЮ, в 1954 г. удален

из ЦК в связи с "делом Джиласа"; публицист в Белграде, Манчестере, Гарварде, снова в Белграде.

Стр. 132 - *Косово поле*. 15 (28) июня 1389 г. на Косовом поле произошла битва между турецким войском и сербскими дружинами. Для сербов битва превратилась в легенду, из которой они черпали национальные и моральные силы.

Стр. 139 - *Рибар* Иво-Лола (сын Ивана Р.), р. в 1916 г., погиб в 1943. Учился в Белграде и Женеве, член КПЮ с 1936 г., молодежный руководитель. Член ЦК КПЮ с 1940 г., член Верховного штаба.

Стр. 141 - *Пляде Моша*, "Чича Янко" (р. в 1890 г. в Белграде, умер в 1957 г.), учился живописи в Белграде, Мюнхене, Париже; занимался живописью, журналистикой и партийной деятельностью. Коммунист с 1920 г. С 1954 г. до смерти председатель Народной Скупщины. Избирался в ЦК и в Политбюро КПЮ.

Стр. 145 - *Жуйович* Сретен, р. в 1899 г., чиновник банка, профсоюзный и партийный деятель, один из лидеров КПЮ при Горкиче, член ЦК КПЮ до 1948 г. Один из организаторов восстания в Сербии в 1941 г. В ю. энциклопедии сообщается, что он принял резолюцию Информбюро, т.е. стал на сторону Сталина.

Стр. 146 - *Четники* возникли в ходе борьбы балканских народов от турецкого владычества; добровольцы в составе нерегулярных вооруженных сил. Во время Второй мировой войны главой четников стал полковник королевской армии Дража Михайлович.

Стр. 146 - "*Фольксдойче*" - немецкое национальное меньшинство в Югославии, в областях, ранее принадлежавших Австро-Венгрии (главным образом в Банате), по переписи 1931 г. - около 500 000. Во время немецкой оккупации Банат был объявлен отдельной немецкой территорией. Из ф. формировались отряды, а затем и 7-ая дивизия "Принц Евгений". Пос-

ле войны ф. были частично уничтожены, частично выселены из Югославии. Согласно данным немецкой энциклопедии Брокгауза, в Югославии в конце войны было 510 тыс. "фольксдойче"; к 1950 г. их там осталось 87 тыс., переселилось в Германию 287 тыс.; число "потерь при выселении" 136 тыс.

Стр. 206 - *Грал* Милан, (1876-1952), театральный деятель, переводчик, литературный критик, писатель, политик; в течение долгих лет директор Народного театра в Белграде; затем глава демократической партии; во время Второй мировой войны - министр правительства короля Петра Второго; в 1945 году вернулся из Лондона и был некоторое время зам. председателя правительства.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	5
1. Магические свойства обучения от противного . . . . .	15
2. Отсутствие, даже ненужность талантов, кроме одного - политического . . . . .	19
3. Вождя невозможно создать, если он не создает сам себя . . . . .	29
4. Политическая смелость - высший, наивысший вид смелости . . . . .	37
5. Верность идеям - конечно тем, которые укрепляют строй и личную роль . . . . .	50
6. В сознании вождя, в особенности автократического, сливаются воедино власть, движение и народ . . . . .	61
7. "Великий человек принадлежит той стране, которой служит" <i>Сталин</i> . . . . .	73
8. Вождь и система, хотя и самостоятельны, но взаимосвязаны . . . . .	86
9. Властитель создает себя и свой облик, а властителя - дворцы и дворяне . . . . .	108
10. Личность и окружающие условия, личность и дело - неразъединимы . . . . .	136
11. Выхода нет - слава и счастье невозможны одновременно . . . . .	160
12. У каждого "божества" свой "демон" - у каждого догмата свои еретики . . . . .	178
13. Как о войнах и революциях, так и о политических вождях нет и не может быть окончательного суждения . . . . .	198
Post scriptum, post mortem . . . . .	212
Автобиография . . . . .	213
Примечания . . . . .	217